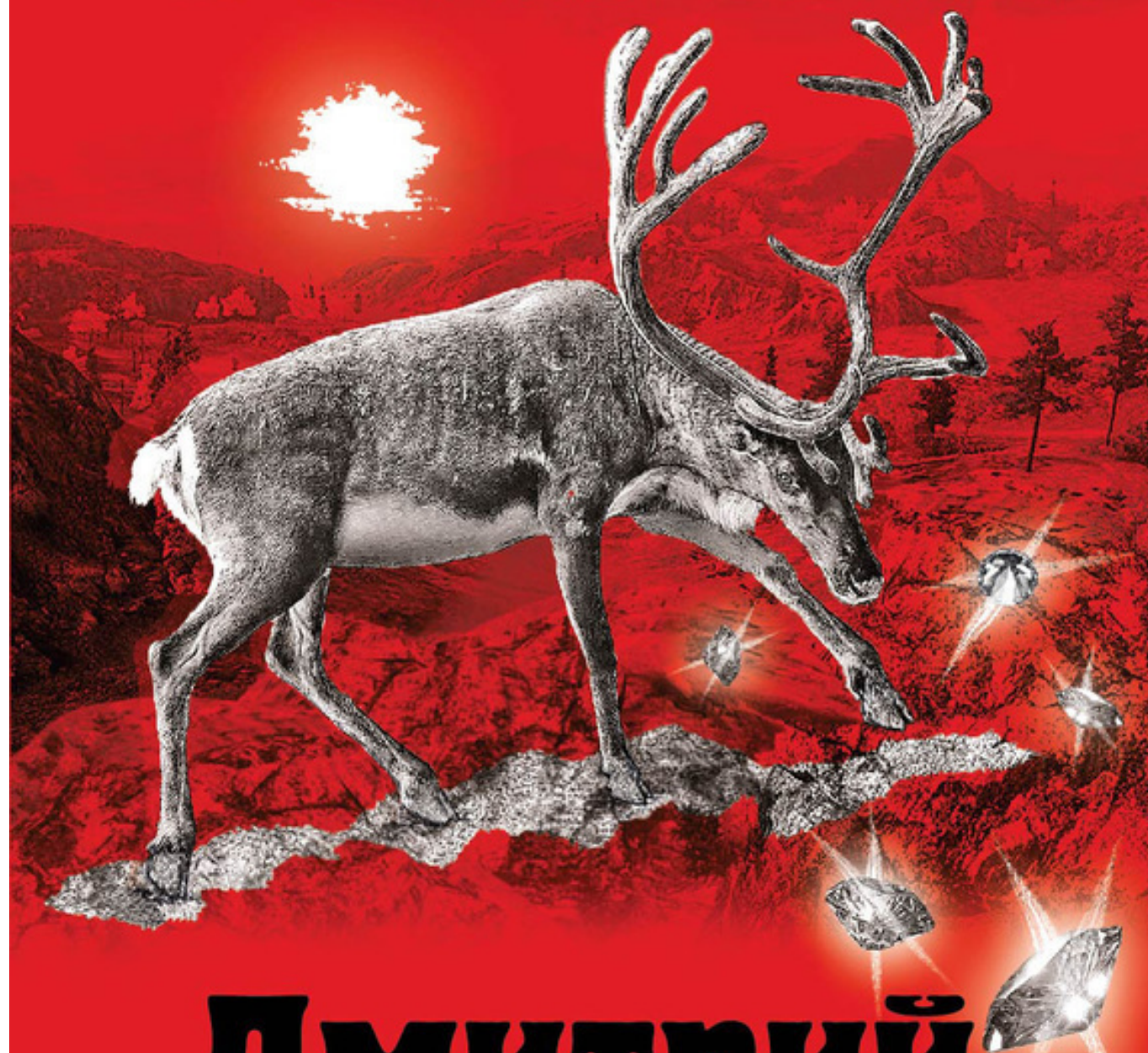


Книга от лауреата Новой Пушкинской премии!

Новая северная проза

В СЕТЯХ ТВОИХ



ДМИТРИЙ
НОВИКОВ

Дмитрий Новиков

В сетях Твоих

«ЭКСМО»

2014

Новиков Д. Г.

В сетях Твоих / Д. Г. Новиков — «Эксмо», 2014

Герой новой книги петрозаводского прозаика Дмитрия Новикова Михаил впервые сталкивается с торжественной и строгой красотой Русского Севера, и это заставляет его раз и навсегда пересмотреть взгляды на жизнь, отказаться от выморочности городского существования и тех иллюзорных ценностей, которыми живут люди в столицах. Древняя магическая сила северных земель как сеть ловит человека, подчиняя его себе и меняя его. Жесткая и пронзительно красивая, как сама природа Русского Севера, проза Дмитрия Новикова выделяется на фоне современной российской словесности – как здоровая сосна на фоне регулярного сада.

© Новиков Д. Г., 2014

© Эксмо, 2014

Содержание

Глаза леса	6
Куйпога	16
На Суме-реке	21
Жабы мести и совести	29
Смерть старушки	35
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Дмитрий Новиков

В сетях Твоих

© Новиков Д., текст, 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Глаза леса

– Сёй, сёй¹, – баба Лена все подкладывает в тарелки дымящейся вареной оленины. Она – карелка. Дед Андрей – коми. Коми-ижемец – он явно гордится происхождением.

В маленькой лесной избушке тепло. Это самое главное – еще полчаса назад мы с Володей дрожали крупной звериной дрожью, насквозь промокнув под брызгами злых, острых волн озера Любви – как еще на русский перевести Ловозеро.

Дед Андрей, маленький, сморщенный, быстро пьянеющий старик с пронзительными голубыми глазами. У настоящих алкоголиков они мутные, постоянно слезятся. Здесь же этого нет и в помине.

– Ты не смотри, что я сейчас в лесу живу. Я мно-о-огое прошел, – он постоянно в движении. Присядет за стол, вскочит подкинуть дров, помешать парящее варево на плите.

– Я в поселке раньше жил. А еще раньше оленеводом работал, бригадиром в бригаде. Двадцать человек у меня было, и все девушки, – он сладко жмурится.

– Комсоргом я у них был, – продолжает после паузы, отхлебнув черного, полкружки сахара, чаю. – Взносы собирал.

– А какие взносы были, сколько? – Мне вдруг стало интересно, вспомнилась красная книжница с фиолетовыми размытыми штампами внутри: «Уплачено. ВЛКСМ».

– Сколько-нисколько. Палка – взнос, – дед Андрей радостно смеется, хороша была комсомольская юность.

– А раньше где жили? Происхождения какого? – допытываюсь я. Мне интересно, я в тундре – всего второй раз. Но уже чувствую, как страшно давит меня красота здешних мест. Она нереальная, жесткая – голубая быстрая речка, окаймленная неширокой полоской свежее-зеленого, летнего северного леса, за ним – широчайшее, серое пространство болот. Вдалеке, но близко, над всем мирным пейзажем жутко нависают Ловозерские тундры – голубые горы со сметанно стекающими с вершин белыми снежниками.

– Из Коми мы, с Ижемского района. Сюда пригнали нас оленей пасти, на Кольский. Восемь детей было. Осталось два. Вот тебе и коммунизм, – дед Андрей помрачнел и внезапно замкнулся. Пришлось подлить ему в стакан разведенного спирта.

– А как места здесь вообще, интересные? – Я сам немного знал, читал, но хотелось услышать от местного жителя. Местные чем и хороши для пытливого слуха – много разных тайн знают. Расскажут, если захотят.

Дед Андрей как-то по-особому остро посмотрел на меня:

– Куда как интересные. Сейдозеро в стороне от вас останется, так что сейдов² не много увидите. Но Куйва³ за вами присмотрит, – он странно хихикнул. – Скалы пройдете – Праудедки называются. Рисунки там наскальные есть. Капища. Место особое есть – Чальмны Варэ. Если дойдете, конечно.

Он опять помолчал, задумчиво жуя кусок мяса. Потом снова встрепенулся.

– Да нет, ничего жизнь была. Хорошая. Тяжелая только. – Дед обхватил граненый стакан не по росту широкой ладонью, опрокинул в себя. Затем медленно залез на огромный, вполдома, топчан, что тянулся вдоль всей стены. Пятнадцать человек легко могли разместиться на нем. Одеяла, шкуры, но чистые. Не было в них заскорузлого запаха человеческого отчаянья. Из грубых досок сколоченный, приземистый и крепкий, он казался очень уютным и теплым –

¹ Сёй (коми) – ешь.

² Сейд (саамск.) – культовое сооружение, большой камень, установленный на нескольких маленьких.

³ Куйва – огромное природное (мхи) изображение великана на одной из скал над Сейдозером.

за стенами продолжал бушевать ветер, окошко текло водой дождя. Было слышно завывание озера Любви.

Володю увела куда-то баба Лена. Он всю жизнь прожил среди степей, хоть и украинец по национальности. В лесу, в тундре – первый раз. Поэтому порой наивен, как новое ведро на колодце, – стоит, сверкая, солнцем цинка, на краю, не зная о грядущем полете вниз. Хорошо, что есть цепь.

Мне не спалось. Тот самый мандраж, невероятный для сорока лет страх, который поселился в душе задолго до похода, не давал ни на минуту расслабиться. Лишь иногда получалось на мгновение задушить его глубоким, колодезным глотком алкоголя, но и тогда он лишь помогал упасть в оленьи шкуры сна, пробуждение от которого было еще более пугающим.

Я не знал, почему так в этот раз. Позволял себе немного догадываться. Но никак не мог окончательно определиться.

Дед Андрей похрапывал на топчане. Я в очередной из многочисленных раз достал из рюкзака карту и описание маршрута. Открыл ее и стал всматриваться в заученные изгибы рек. Одна из них носила странное имя – Афанасия. Ко второй, огромной, безлюдной и величественной, – предстояло дойти. Поной – Собачья река в переводе с саамского. Не самое веселое имя...

Не знаю, что за странная прихоть ведет меня на север. Она неодолима. И часто, опять собираясь, укладывая вещи в рюкзак, думаешь со страхом и упованием – бесы ли манят, промысел ли божий. Так и мучаешься в сомнениях, пока не дойдешь до края, где открывается все. Там узнаешь – благодарить или бежать.

Я еще раз прочитал описание маршрута. На сгибах его уже начали протираться дыры. Да, безлюдье на сотни километров. Да, четвертая категория. Да, на сплавах предыдущих лет погибло одиннадцать человек. Но неотвратимо и ласково манила зелено-голубая карта обширной местности. Были в ней обещание и загадка, как в красивой испуганной женщине, уже покорной, уже сдавшейся. И нужен очень трезвый глаз, чтобы за нежной податливостью этой суметь увидеть мгновение острого стального взгляда из-под трепещущих в страхе ресниц.

– Мама, я знаю, что нужно делать, чтобы мальчик за тобой погнался, – говорила одна четырехлетняя прелестница моей знакомой. – Нужно подойти, улыбнуться и побежать.

Все, хватит. Карту опять в рюкзак. Сапоги на ноги. В дверь, наружу. На мне брезент энцефалитки, на поясе – нож, в ногах твердость, в груди – решимость, в голове – задор. Сделав глоток спирта и закусив куском оленины, я вышел из дома.

Посреди белой ночи, в северной глуши, стояла черная избушка. Черная она потому, что стены из тонкомера снаружи обтянуты толем – таков кольский стиль. Поверх толя зачем-то – маскировочная сетка, скорей всего – для красоты. Низкая крыша из почерневшего от времени шифера была полого – сугробы снега наверху давали зимой лишнюю толику тепла. Маленькие окошки тоже берегли жизнь от лютого холода. Хлипкая изгородь, сплетенная из тонких березок, – не от человека или зверя. Задерживая снег, она принимала на себя удары ветра с озера. Еще был огород – два метра вскопанной земли, из которой торчала пара былинки лука да робко пробивались листья клубники – ягод нужно было ждать к сентябрю.

Куриных ножек у избушки не было. А может, и были, просто она низко, нахохлившись, присела на землю.

По двору бродили две добрые собаки-лайки. Я сразу подружился с ними за оленью кость. Поодаль была привязана собака злая. Помесь сенбернара и кавказской овчарки, она когда-то была сильно обижена людьми. Поэтому бросалась молча, без предупреждения. Лишь внезапный звон толстой цепи мог спасти от смертельной опасности. Которой не почуял черный кот Василий, и спина теперь была без шерсти – страшные зубы сорвали шкуру с обоих боков и сверху. Теперь кот был черно-розовый, непонятно как выживший, но по-прежнему ласковый и ждущий рыбы. Добрые собаки иногда шутливо прихватывали его то за голову, то за шрам. Он игриво отбивался, не выпуская когтей. Цепь же обходил далеко.

– Пойдем, Володя, я тебя с собачкой познакомлю. Чтобы не покусала случайно, – из-за изгороди донесся голос бабы Лены. Следом за ней покорно шел Володя. Бывший чемпион по плаванию, двухметрового роста, он по жизни был слегка задумчив – водная среда медленнее, тягучее воздуха. Длинноволосый, с черной бородой, он для пущей красоты надел в лес спортивный костюм былых достижений, с золотой надписью Kazakhstan на спине. Основные же цвета его были желтый и голубой, символизируя, возможно, происхождение бывшего пловца. «Ну что, пираты в городе», – так приветствовал его вчера первый встреченный на кольской земле. Действительно, большая серьга в ухе Володе бы очень подошла.

Еще когда собирались дома, я много говорил про север. Про тревоги и опасности. Про то, что непонятно на самом деле, как зайти на Поной, слишком много изгибов было на пути к нему. Что так же непонятно, как с него выйти – река впадает в Белое море, у самого горла его, на границе с Баренцевым, где из жителей только пограничники, а из возможных средств выброски лишь теплоходик «Клавдия Еланская» с таинственным расписанием да вертолеты, возящие американских рыболовов на элитную рыбалку. «Выход, похожий на вход», – глубокомысленно изрек тогда Володя. А я принялся шутить.

– Володя, на пограничников надежды мало. На «Клавдию» меньше того. Один реальный выход – суровый вертолетчик. Ты, красивый и видный мужчина, должен суметь очаровать вертолетчика. Денег для алчного Икара у нас будет мало. Поэтому придумай что-нибудь.

– Выход, похожий на вход, – уже радостно хохотал Володя. Отчего бы не поскабрезничать двум взрослым мужикам.

Но больше смеялся я, когда в магазине продавщица протянула Володе голубой спальник, внутренность которого была отделана веселой байкой с пушистыми котятами на ней. Володя хмурился уже. От другого спальника – траурно-черного цвета – отказался наотрез.

И хохотали в голос уже вместе, когда в другом суровом магазине для настоящих, искренних мужчин не оказалась брезентухи Володиного немаленького размера.

– Вот это возьмите, тоже помогает от клещей, – в руках у девушки была сеточка на голое тело, что так выгодно может обрисовать спортивный мужской торс.

– Суровые вертолетчики крикнут радостное «Хэй!!!», увидев красивого тебя. И вывезут куда угодно. А я уж с вами в уголке!

Вот что в Володе особенно хорошо – он никогда не обижается. В походе это очень важно.

Все почему-то быстро вспомнилось, пока я наблюдал, как маленькая баба Лена властно ведет большого Володю к привязанной на цепь собаке.

– Кровавик, – она сунула ему в руку зеленоватый, с красными пятнами камень. – Саамская кровь называем. Подарок тебе.

– Познакомься, Бэрик, свои, свои, – баба Лена стала сильно гладить пса, пригибая его голову к земле. Тот тихонько рычал.

– Володя, не бойся, наклонись, погладь собачку, – какие-то особые ноты появились в ее старческом раньше, резко помолодевшем голосе.

Володя послушно нагнулся. Как удачно спикировавшая чайка, взлетающая вверх с добычей, навстречу большому росту взмыла баба Лена и впилась в большие Володины губы тяжелым, сильным поцелуем.

От неожиданности и ужаса мой друг на секунду замер, а затем навзничь опрокинулся на спину, стремительно, по-заячьи перевернулся и на четвереньках ринулся прочь.

– Куда, куда, стой! – Баба Лена пыталась прихватить его за желто-голубой костюм, но он вырвался и коlobком закатился за угол избушки. Затрещали сучья.

Баба Лена оглянулась, поправила седые волосы и вернулась в дом. Минут через десять, так и не отойдя от увиденного, туда же зашел и я. Еще через десять минут осторожно протиснулся запыхавшийся Володя. Дед Андрей не спал, сидел на лавке. Баба Лена снова накрывала на стол.

– Это – моя женщина, – мрачно сказал дед Андрей испуганному Володе, и тот лишь смысленно моргнул большими понятливыми глазами.

Остаток ночи прошел в полубреду. Снова разгулялся ветер за окном. Снова пошел дождь. Чуйка не подвела меня, и я лег с краю топчана, ближе к стене. За мной пристроился Володя. Дальше лежал дед Андрей. Он снова выпил и камлал всю ночь. То начинал умолять тоненьким голоском: «Не трогай, не трогай меня, я нормальный мужик». Потом затихал на десять минут. Я сразу проваливался в сон. И просыпался от его грубого и тяжелого, как холодная вода, приказа: «Лежи тихо. Жди». Волосы начинали шевелиться у меня. Сзади беспокойно ворочался Володя. Дед Андрей опять затихал, чтобы через новый промежуток зашептать: «Володька, Володька, вставай, налей деду».

Бабы Лены было не слышно. Но я знал, чувствовал, что она не спит, что она где-то рядом и внимательно смотрит сквозь темноту холодными острыми глазами.

Все это повторялось раз за разом. Я не знал уже – во сне или наяву. Ужас был на дне темного провала, куда я летел в забытии, но, вздрогнув и проснувшись, я понимал, что наяву страшнее. Приснилось ли, вспомнилось, но я отчаянно и вновь увидел, как ты пила мою кровь. Мы расставались, вернее, уходила ты. А мне было нужно показать, что наплевать, что не боюсь ничего. Даже этого, что казалось равным смерти. Я был безбоязненным тогда. И браво водкой заливал лихое горе. Позвал на праздник друга своего, пьющего доктора. Мы выпили в машине. Я сходил в аптеку и купил систему. «Откачай-ка мне, братка, крови. Кровоупускание должно помочь». И когда набралось пол-литра, взяли еще водки и пошли к тебе. Мне так хотелось напугать тебя каким-нибудь особенным путем. Я смешал водку с кровью и грубо приказал: «Пей!» И всего ожидал – слез, страха, негодования, рвоты. Но не смеха. Ты смеялась и пила. Одну рюмку, другую, третью. Смеялась, внимательно глядя мне в глаза холодным острым взглядом...

Наконец настало утро. Чуть только белесость белой ночи сменилась солнечным лучом, прорвавшим вдруг тяжелые тучи Ловозера, мы с Володей одновременно вскочили на ноги. Тихонько выскользнули из избушки, умылись живою серою водой. Прокрались обратно за вещами. А на плите уже вовсю кипел чайник. За столом улыбочиво сидел дед Андрей. Баба Лена резала пластами розовое, прозрачное мясо большого жирного сига.

– Садитесь завтракать, – дед Андрей был явно в духе, – Володька, налей деду.

– Сей, сей, – баба Лена щедро накладывала на тарелки неземного вкуса яство.

– Я вот что думаю. Далеко-то я вверх не ходил. Покажь-ка карту. Да, Марийок, потом еще километров тридцать. Волок. Койнийок. Тяжеленько вам будет, – радостно заключил дед. – Но один точно вернется. Не знаю, как хохол, а карел вернется точно!

– Куда, как вернется? – я подлил старику еще, но тот лишь широко улыбнулся в ответ.

– Дед, а может ты – смотритель реки? – настороженно спросил Володя.

Тот снял с лица улыбку и сказал вдруг серьезно и жестко:

– А ты больше никогда так не говори!

И через минуту молчания:

– Ну, с богом! Длинный путь.

Мы быстро собрали байдарку. Кинули вещи, погрузились сами. Мяукнул на прощанье Васька-кот. Залаяли лайки. Зазвенел цепью сенбернар. Я оттолкнулся веслом от близкого дна. Володя покачнулся, сидя в носу со вторым веслом.

– Задницей, задницей равновесие лови! – крикнул я ему главный байдарочный секрет.

– В жопу поветерь!!! – сказал дед Андрей и обнял бабу Лену за плечи.

Через несколько гребков мы были далеко, и, с трудом обернувшись в узкой лодке, я увидел две маленькие уже, пристально глядящие нам в спину фигурки. Рядом бегали собаки, и черно-розовой запятой вился возле ног кот...

Поначалу река была спокойной, неторопливой, и мы легко выгребали против течения. Настолько, что было время, чтобы смотреть окрест и думать про путь. Потому что ничего нет слаще и тревожнее, чем думать про путь, особенно в начале его. Ведь только в дороге ты по-настоящему свободен и честен перед Богом и собой. В любых других обстоятельствах зависимость от людских схем гнет тебя к земле. И лишь беря на себя всю радость бремени за дорогу к жизни или смерти, имея над головой всего лишь небо, а под ногами только землю или воду, ты становишься господин себе. И помочь тебе может лишь нательный крест, а помешать – лишь былые неправды. Все остальное – в руках, разуме и душе твоей. В дороге ты чист и потому силен и уязвим. Но это жизнь, достойная того, чтобы попробовать ее на вкус и запах.

Медленно протекали мимо нас берега. Заросли карликовой березки сменялись открытыми пространствами моховых болот. Иногда внезапно возникали песчаные отмели, и на них были видны следы оленьих стад. Тихо было вокруг. Моросил мелкий дождь. Из рта шел пар. Был конец июня.

Берега текли медленно, а потом остановились. И потихоньку пошли назад. Одновременно с этим послышался шум. Я очнулся от благородных мыслей и увидел, что, пока мечтал, речка изменилась. Она стала быстрой. Впереди был слышен первый порог.

Я вообще сильно рассчитывал на Володю. Еще бы – спортсмен, хотя и в прошлом. Шесть литров легких и клубок тяжелых мышц. Вдвоем мы многое могли пройти. Я рассчитывал еще на нескольких людей. Они собирались идти со мной, у них были лодки, ружья, умение и отвага. Я полгода заманивал их на Поной, обещая золотые горы, несметную рыбу, красоты и воспоминания. Они соглашались, кивали головами, сжимали в руках оружие и готовы были на многое. Пока не подошло время пути. Один за другим, словно недозревшие обмороженные почки с дерева, отваливались от пути герои и рыбаки. По разным причинам – семейным, бытовым, другим. Я думаю, что их просто испугал путь. Он действительно был непростым.

Последним отпочковался друг мой Конев. Полгода он собирался, а кончился в последний день перед отъездом. «Внезапно заболела язва. Я не пойду», – и все слова. Ни сожаления, ни извинения. По-женски как-то отвалился Конев, сделал кувырок через голову и был таков. Остались мы с Володей одни. И теперь гребем изо всех сил, а вдвоем тяжело, еще бы человечка в помощь. Речка бурлит, совсем ускорила резко, сменила спокойный нор. Того и гляди – снесет обратно в озеро.

Короче, ели выгребли на берег. Перед самым порогом тихая заводь была с водоворотиком небольшим, туда-то мы и нырнули. Выскочил я на берег, байдарку подтянул. Вылез и Володя.

Как-то не очень быстро он осваивается. Хотя что с человека степного взять в условиях далекого севера. Я сам точно так же какую-нибудь лошадь упустил бы на волю, как Володя байдарку. Хорошо, шкерт на носу привязан был, за него еле схватиться успели, когда она плавно и свободно уже готовилась без нас отплыть в одиночное плавание. Остались бы без еды и снаряжения в самом начале.

Но красиво кругом так, что руки сами быстро-быстро работу делают – костер, палатка там, а голова вертится отдельно, красоту эту через глаза, уши и ноздри впитывая. Порог речной шумит, лес зеленую свежую глаза ласкает. И только высокие синие тундры, облитые сметаной снежников, сурово висят над головой. И кажется – постоянно смотрят, наблюдают за тобой. Словно ты коммунист – сам маленький, а совесть у тебя огромная и синяя.

Володю я легко в поход заманил. Он человек хороший, но забавный. Решил почему-то, что самое интересное в мире – это древние индейцы. Какой-то в детстве комплекс у него сформировался. И вот эти индейцы у него везде – в голове, в сердце и в глазах, больших и вечно удивленных. Ацтеки, майя, Кексоткоатль и другие прелести. Он даже книжку об этом написал, фантастические рассказы про индейцев, как они все предвидят и способствуют. Поэтому ему было достаточно лишь фотографии Праудедков показать, скал, что в пойме Поноя расположены. А скалы действительно замечательные. Фигуры сидящих великанов, фантастические животные, горбоносые профили с перьями на макушке – бальзам для настоящего фантаста. Вот Володя и кинулся в северный поход за южным знанием. А знание – оно вне земной географии. География души человеческой – вот оно где.

Утром встали – так лагерь собирать неохота. Быстро человек к любому месту прикипает. Даже палатка в одну ночь домом родным становится. Да и как иначе, когда на улице дождь и температура – плюс три. Пар изо рта валит, сапоги мокрые, хорошо – комаров и мошки пока нет, холодно им еще. Ну и потряхивает, конечно, от детского ужаса перед собой – куда черт несет?

Я, когда дома собираться начал, все не мог понять – кто меня сюда ведет: то ли промысел божий, то ли бесы манят. Фотографии смотрю здешних мест – красота такая, что страшно. Стал людей искать, чтобы помочь смогли – легко как-то все получается. Один, другой, третий, общие знакомые находятся, в Интернете совсем со стороны люди – и все помогают, ведут радостно. Очень я этим доволен сначала был. А потом насторожился слегка. Если все слишком хорошо – что-то не так. Это – одно из моих основных знаний о жизни в родной стране. Чуйка моя. Иногда помогает. Приятель, казачьих корней, говорил – чуйка, мол, палочка такая с черной ленточкой. Когда убитого казака хоронили, то на могилу ее ставили, пока не отомщен. Но я и другое знаю: чуйка – это чувство такое. Лучше его слушать.

Есть, правда, напиток волшебный, который превращает страх в мужество. Называется: спирт этиловый, разведенный. Позавтракали мы с Володей им да тушенкой с макаронами и бодро так собрались, опять на многое готовы, красавцы и герои. Все в байду уложили красиво и плотно. И пошли. Только теперь уже первый этап пути закончился. Тот, когда сидишь на лодочке да веслами помахиваешь, на природу любуясь. Бечева началась. И кусты.

Бечева легче волока. Но не намного. На волоке все на себе волочишь. Тут же вещи все в байдарке. А ты ее по воде за носовой шкерт тащишь. Она легко идет, если течение не быстрое, да берег пологий, да тропинка по нему – идешь гуляючи, цветы нюхаешь попутно. А тут пороги, да кусты непролазные, да речонка стала уж больно бойкой. Байдарка то и дело в кусты носом упирается, выдираешь ее оттуда с хрустом. Сами березки даром что карликовые – метров до

двух ростом, да переплетенные все, словно волосы кудрявой девчонки после ночи искренней любви.

Приспособились кое-как. Я впереди байдарку тащу, через березы продираясь. Володя сзади с веслом, отталкивает ее от берега вовремя, чтобы в зарослях не путалась. Бодро сначала пошли, сил в избытке. Дождь нипочем, холод побоку – конкиста идет. Полог походный натягивали, только когда ливень сплошной начинался, а так – вперед, через ухабы. Правда, когда первый раз за собой плеск громкий услышал, испугался сильно. Но виду не подал, подумал – рыба большая. Обернулся – а это Володя веслом промахнулся мимо борта да во весь свой рост плюхнулся в воду. Даром, что ли, чемпион по плаванию. Это первый раз было. А потом уж я оборачиваться перестал. То ли от усталости, то ли от ужаса, но стал Володя все чаще и чаще в воду падать. Бродни воды полные, мокрый весь, но идет, держится. Привалы мы часа через три устраивали, когда совсем неумоготу становилось ноги на высоту плеч задирать, чтобы сквозь заросли проломиться. Костерок маленький под тентом зажжешь, чайку согреешь, да плеснешь туда – пуншик, как поморы говорили. И снова в путь.

Сначала мы бодриться пытались. Песню вспомнили про кустового кенгуру Скиппи, что из далекого детского фильма. Вот и шли, порой чуть не вприсядку: «Скиппи, – поешь, – Скиппи, Скиппи из э буш кангуру-у-у». Так первый день прошел. Лагерь на старой стоянке с костровищем сделали. Тент, палатка, костер и отсутствие ног. Носки свои мокрые Володя пытался высушить, грея камни в костре и заворачивая в них потом. Да тщетно. Дождь так и не кончился.

Все последующие дни стали похожи один на другой. Тяжелый подъем, ломота во всем теле, завтрак на скорую руку. Путь. Дождь лил, не переставая, лишь иногда спадая до состояния мороси, зато в другое время проливался холодным ливнем, словно у неба был отпущенный запас воды, которую нужно вылить на горящую страстями землю. Мокрая одежда, мокрые ноги. Кусты. Через пару дней бодрая песня про Скиппи превратилась в унылый романс:

Не говорите про кусты, не говорите.
Вы лучше спирт водой тихонько разведите.
И шапку новую мою не прое....,
пардон – не потеряйте.

Вещи стали пропадать с пугающей частотой. Нож, садок для рыбы, носки. Они убывали так же, как и запас еды. Мы постоянно становились легче, скидывая с себя обузу и привязанности. Обувь пока держалась, хотя на резине стали появляться трещины на сгибах и вода сочилась сквозь них. На недолгих привалах я старался не смотреть на голые Володиные ноги, когда он стаскивал с себя сапоги в очередной тщетной попытке их высушить или хотя бы согреть. Ноги были потертые, распухшие, мясного, с синеватым отливом, цвета. Мои были получше, я умудрился сохранить сухими одни шерстяные носки, которые надевал только на ночь, в палатке, и утром опять тщательно убирал в непромокаемую «гидру».

Песни в пути мы пели не столько от радости, сколько от страха. Следы людского пребывания – редкие костровища, тропинки, консервные банки – стали потихоньку исчезать, пока не пропали совсем. Вместо них появились звериные тропы. На песчаных участках, свободных от кустов, все чаще холодили душу первобытным ужасом следы сначала росوماхи, а потом – медведя. Их становилось все больше и больше. Первые остатки медвежьей трапезы я заметил уже на второй день, но не сказал Володе. Дальше их стало настолько много, что не заметить было невозможно. Порой ступить на тропу было некуда из-за повсеместных черных куч. Когда Володя догадался наконец, что это такое, он бессонно просидел в палатке полночи. Под утро

же, заснув, закричал почти сразу тонким голосом, перепугав меня. Ему приснилось, что медведь подошел к палатке и стал просовывать лапу под Володину спину, тяжело дыша и прижимаясь теплым боком. Володя во сне послушно прогибался, пока не осознал помутненным разумом, что происходит.

Мы пели разные песни, чтобы зверь заранее услышал нас и успел уйти. Говорят, это единственно помогает от нападения – медведь нападает, только испугавшись неожиданной встречи. Но так лишь говорят. Подходя к новым зарослям кустов на берегу, мы начинали истошно вопить про неуклюжих пешеходов, про орленка, который взлети выше солнца, а иногда и вообще про вчера, когда мои беды были так далеко отсюда, но я билив ин естердэй. Из оружия у нас были только пара ножей да четыре китайских фейерверка в форме маленьких гранаток-лимонок. Взрываясь, они издавали резкий хлопок, который должен был напугать и обратить в бегство любого зверя. По крайней мере, мы надеялись на это. Ружей у нас не было, все люди с ружьями благоразумно остались дома.

Иногда я пробовал ловить рыбу. Но она не клевала. Заброс самых привлекательных приманок в самые чудесные для рыбы места не давал никаких результатов. Омуты с водоворотами, одинокие камни по течению, бурные перекаты – река должна была кишеть рыбою. Однако каждый раз с рыбалки я возвращался ни с чем. Единственным из трофеев было постоянное чувство, что кто-то внимательно наблюдает за тобой из леса. Приходилось петь еще громче, но я не был уверен, что это зверь, хотя и холодело сердце от вида каждой черной коряги в чаще и от каждого лесного треска за спиной. Вообще почему-то было очень тихо. Не пели птицы. Не жужжали насекомые. Только неумолчный шум реки да голос постоянного дождя. К ним мы привыкли настолько, что не замечали. Тишина казалось полной.

Каждый раз, уже лежа в палатке вечером, мы начинали вспоминать и разговаривать, чтобы как-то убить тишину. Вспоминали почему-то больше женщин, мужчины меньше интересовали нас. Вспоминали плохих и хороших, веселых и злых, хитрых и простодушных. Таких совсем мало было. И каждый раз оказывалось, что любой рассказ был связан с болью, приглушить которую мог только добрый глоток или циничный смех.

– Представляешь, я когда увидел, что все попутчики наши испугались, начал судорожно в Интернете на туристических сайтах объявление вешать – ищу, мол, для похода на Поной. Так сразу девушка одна откликнулась. Пишет: «Хочу с вами пойти. А зовут меня Маша Изумрудова».

Володя впервые за последние дни радостно засмеялся:

– А чего – нужно было Машу с собой взять! Представляешь, какими бы мы тут гоголями ходили. И любой путь был бы нам не страшен. И в соревнованиях за Машу радостно летели бы часы и километры.

Потом он тщательно подумал:

– Фамилия какая-то странная – Изумрудова. Цыганка, что ли. Знаешь, хорошо, что не взяли. Ну его на фиг, женщин этих. Передрались бы еще тут все.

Внутри у меня холодно шевельнулась моя чуйка.

Ночью ты сидела у меня на лице. Я так бесстрашно любил это раньше. Любил и сейчас, пока не стал задыхаться. Воздух кончался, и горячая радость, что только что была жизнью, стала душной, тяжелой, смертельной. С трудом я открыл глаза, проснулся и с отвращением откинул с лица мокрую со вчерашнего дождя шерстяную шапку...

Утром я услышал необычные звуки. После долгой и гнетущей тишины с неба лился трубный глас серебряных труб. Раз, и еще раз, и еще. Внимательно осмотревшись, я осторожно вылез из палатки. Звуки раздавались со стороны реки. Натянув волглые сапоги, я вышел на

берег. Низко над водой, медленно, как во сне, летели три лебедя-кликуна. Раз за разом они зычно и прозрачно кричали, словно сзывая неведомое воинство на бой.

Володя проснулся совсем мрачный:

– Кукушка кричала.

– Это не кукушка. Это лебеди пролетали, очень красиво, – мне хотелось казаться веселым.

– Знаешь, мне сегодня приснились надгробия – твое и мое. Имена, фамилии. Даты рождения. А дат смерти пока нет.

Я притворился отважным, хотя нерадостно слушать утром чужие сны:

– Володя, чего-то ты приуныл совсем. Может, вернемся?

– Да нет. Бабы Лены боюсь, – сказал Володя серьезно.

Он вылез из палатки и стал разводить костер. А я в сотый раз принялся перечитывать описание маршрута: «Примерно на середине Поноя находится заброшенное село Чальмны Варэ. После него характер реки резко меняется. Берега повышаются. Отвесные скалы достигают высоты ста метров. Река сужается, часто петляет. Порой резко поворачивает, и тогда возникают опасные прижимы. На протяжении пятидесяти километров на ней располагаются одиннадцать порогов. Последний из них, Бревенный, непроходим».

Поразительно, но в реке совсем не было рыбы. Вернее, наверняка она была, клевать же отказывалась. Погода ли была тому причиной, еще что, но каждый раз, уходя на рыбалку, я возвращался с пустыми руками. Володя в мое отсутствие, казалось, слегка сходил с ума. Он передвигался по лагерю, постоянно озираясь и приплясывая. Пение песен стало его постоянным занятием. Пел он разные песни, иногда просто мычал, но в тишине находиться для него стало невыносимо. В руках он сжимал маленькие гранатки, готовый в любой момент нервно сорвать чеку и запустить в белый свет или в любую тень свое единственное игрушечное оружие.

Зато стало очень много птиц. Каждое утро, а то и под вечер нас преследовал щемящий душу крик лебедей-кликунов. Огромные жирные гуси пролетали так низко и близко, что иногда, казалось, их можно сбить удилищем спиннинга. Утки то и дело выныривали из реки в самых неожиданных местах и пугали внезапным своим появлением из-под воды. Все они внимательно следили за нами.

В один из дней я решил проверить свое странное предположение. К тому времени многое из невероятного раньше уже казалось возможным.

– Володя, я пойду ловить рыбу, – сказал я ему, – а ты внимательно смотри. Я знаю имя одного женского беса, некрупного, но злого. Попрошу его. А ты гляди в оба.

Я вышел на берег реки. Володя зачем-то спрятался в кустах. Вода мирно журчала на небольшом перекате. Смотрели сверху горы.

Я распустил спиннинг.

– Катька, дай рыбы, – крикнул в гулкую пустоту отчаянно и безнадежно. – Давно я ничего не просил у тебя.

Блесна упала далеко, почти у другого берега. Я стал крутить катушку, внутренне усмехаясь своей слабости – сабельные походы комсомольской юности не оставляли обычно места сомнениям.

Внезапно удилище дрогнуло, согнулось, и я выхватил из воды чудесного трепещущего хариуса. Не долетев до кустов, в которых прятался Володя, он сорвался с крючка и заплясал на песчаном берегу. Я быстро и судорожно убил его, шмякнув головой о прибрежный камень, и закинул блесну снова. Вторая поклевка, и второй хариус заплясал рядом с неподвижным уже первым. Больше поклевок не было. Шутки и баловство кончились...

В этот вечер мы впервые поели свежей рыбы. А ночью я в ужасе проснулся в палатке от тихого тонкого воя. Выл Володя, неподвижно лежа в спальнике с широко раскрытыми глазами. Я несколько раз сильно толкнул его, пытаюсь как-то расшевелить. Наконец он замолчал, полежал немного неподвижно, затем тяжело и грузно вылез из спальника.

– Миша, мне в голову вошел парализующий шар! Я не мог двигаться. Я мог только лежать и звать тебя. Но ты спал. Тогда я испугался, – сбивчивый Володин рассказ был особенно гнетущ посреди окружающей палатку мертвой тишины. Выглядывать наружу не хотелось.

– Володя, все это ерунда! У тебя опять фантастическое воображение проснулось. Нет никаких шаров и надгробий. Медведь есть, правда, но он держится поодаль. Мы просто идем обычным русским путем, – я старался говорить уверенно, чтобы унять дрожь в голосе. Крепкие руки умело разводили напиток утреннего мужества.

– Что значит – русским путем? – Володя слегка успокоился и заинтересовался.

– Предки наши шли в неведомое, поморы и ушкуйники. Ну и что – лопари колдуны и шаманы были сплошь. Ну и что – Куйва на скале и сейды вокруг. У наших – крест на шее и топор в руках. Крестили же лопарей, последних, но крестили. А бесы все – внутри. Нет ничего снаружи, все – внутри.

Володя как-то приободрился героической историей и глотком спирта.

– Я кофе поставлю, – он осторожно, но настойчиво полез наружу из палатки, мелькнув напоследок своими голыми ступнями с кровавыми потертостями на них.

А я остался внутри, чтобы подумать. Опять достал карту. Красивая она была и в чем-то неуловимо, по-женски лживая. Расстояния какие-то не те, уже семь дней идем, а волока не видно. Изгиб на реке вот этот был, а следующего не было. Ручья чего-то не заметил, а он большой на карте. Но все равно, красивая она. Зеленые массивы лесов и болот. Голубые извивы рек. География. Давно изученная, написанная, нарисованная. И любой путь теперь – лишь повторение шедших пред тобой.

Другое дело – внутри. Ничего не ясно. Смутно, и не проясняется. Душа человечья, злоба и радость. Боль. И путь навстречу боли. Любовь. Баба Лена. Кровь всегда морковного цвета. Жесткие пустые глаза и свет улыбки. Карта души.

Видимо, я задремал. Очнулся от пыхтенья у костра – Володя раздувал огонь.

Карта лежала рядом. Поверх нее – описание маршрута. Взгляд упал на последний абзац: «Село Чальмны Варэ. В переводе с саамского – Глаза леса...»

Куйпога

«Моя философия в том, что нет никакой философии. Любомудрие умерло за отсутствием необходимости, – он дернул ручку коробки передач, и машина нервно, рывком увеличила скорость. – То есть любовь к мудрости была всегда, а саму мудрость так и не нашли, выплеснули в процессе изысканий. Ты посмотри сама, что делается. Напророчили царство хама, вот оно и пришло. Даже не хама, а жлоба. Жлоб – это ведь такой более искусный, утонченный хам». Они ехали молча, в ночной тишине, по дороге, ведущей за город, на север. За окном мелькали старые, с облезшей краской, дома, сам асфальт был весь в выбоинах и ямах, как брошенное, никому не нужное поле. Внезапно показался огромного размера ярко освещенный предвыборный щит с сияющей мертвенно-синей надписью «Поверь в добро». «Вот-вот, смотри, славный пример, досточтимый. Ничего не нужно делать. Просто в нужный момент подмалевать красками поярче, лампочек разноцветных повесить. Годами друг друга душили, душу ножками топтали, а тут одни с пустыми глазами мозгом поработали, у других, таких же лупатых, релюшка внутри сработала – и все мы опять верим в добро, тьфу», – он выплюнул в окно окурок вместе со слюной и выругался.

Она сидела рядом, нахохлившись и печальная. Ей было грустно – он опять говорил не о том. И стоило ли объяснять давным-давно говоренное, обыденное, как овсяная каша. Стоило ли в сотый раз пытаться найти первопричину, когда все просто – такая здесь жизнь. Ей хотелось радоваться, что наконец свершилось, после долгих сборов, сведений в кучу всех обстоятельств, всех вязких стечений они все-таки вырвались и едут теперь к морю. Большую воду она видела только однажды, в детстве, когда отец взял ее на юг, и с тех пор в памяти остался свежий, щекочущий горло и грудь запах, слепящая глаза пляска солнечных бликов и едкий, как уксус, вкус кумыса.

А он продолжал нудить свое: «Видела, плакат на площади повесили. «Фиерическое шоу». Ублюдки. Писать разучились, а туда же, феерии устраивать. Даже любимое и родное теперь слово «fuck» умудряются в подъездах с двумя ошибками писать. Вообще, утонула речь, язык утонул. Как будто во рту у всех болотная жижа. Да и в головах тоже. Мозги квадратными стали. Вместо мыслей заученные схемы. Мыслевыкидыши. И утопленица – речь». Он был неприятен самому себе со всеми этими неуклюжими рассуждениями, но никак не давали успокоиться, вновь почувствовать ровное течение жизни три пронзительных в своей немудрености вопроса: «Куда едем? Зачем едем? Ищем чего?» И, глупый, все спрашивал и спрашивал себя...

«Хватит, – вдруг попросила она. – Надоело уже. Давай про что-нибудь другое. Посмеши меня как-нибудь. Ты же умеешь меня смешить!»

У них была странная любовь. Она начиналась как чистой воды страсть. Когда он увидел ее впервые, то поразились стремительности, какой-то воздушности всех движений. Окружающие люди, события – все вокруг казалось застывшим, словно погруженным в желейную дремоту. Ему сразу представилось тонкое деревце под напором ветра, как оно гнется к земле почти на изломе, но вдруг выпрямляется при малейшем ослаблении, рассекает сабельным ударом тугую тягомотину, чтобы потом снова клониться, сгибаться из стороны в сторону, отчаянно трепеща листвою, и вновь упрямо и чувственно бросаться навстречу жестокому потоку. «И создал Бог женщину», – подумалось, когда он наблюдал со стороны за силой и изяществом ее походки, красотой тонких, округлых рук и неземным почти, стройным совершенством бедер. Потом, много позже, он понял, что только живая, полная ласковой внимательности ко всему вокруг душа способна так умастить, драгоценным миром покрыть совершенное тело. Потому

что полно вокруг было красивых манекенов, пляшущих свои бессмысленные, нелепые танцы и постоянно жующих лоснящимися ртами пирожные по многочисленным кофейням.

Но потом страсть стала потихоньку стихать, откатываться, как морская вода при отливе, и наступило время прикидок и размышлений о чужих мнениях, полезности и монументальной правильности, и никак не могло родиться долгожданное, дерзкое и бесшабашное доверие.

«Не буду я тебя смешить», – упрямо пробормотал он и снова погрузился в унылые размышления о продажности всего и вся. Благо опыт продаж у него был изрядный. Тяжелым, скользкой тиной покрытым камнем лежала на душе торговля алкоголем, когда цены предварительно повышались на пятнадцать процентов, а потом резко и публично снижались на десять; бодяжный портвейн с хлопьями осадка, распаханный в коробки с сертифицированным пойлом; расселение бичей со всем их вонючим, жалким скарбом по различным, на них же похожим халупам; переклей этикеток с новыми сроками годности на лежалую, прогорклым жиром пахнущую рыбу; склизкая дружба с «нужными» людьми, когда над всем разнообразием отношений плавают маслянистый взгляд хитро прищуренных глазок; странные, нереальные сочетания вожделеющих чиновничьих рук и их же властных ртов, вещающих о совести и доброте. А рядом с ними были молодые девчонки, отдающиеся за коробку бабблгэма или за ужин в ресторане, что стоило примерно одинаково; рекламные кампании в газетах, где такие же молодые и бездумные могли за деньги сочинять сказки о чудесных похудениях и излечениях; яркие, талантливыми красками расцвеченные плакаты о том, что «только у нас, опять в последний раз, одобрено всеми министрами и специалистами, продается столь необходимое вам, жизненно показанное дерьмо в красивой упаковке, с прилагаемым бонусом в виде еще одного, но уже небольшого дерьма». Удивительно, но сначала все это казалось ему свободой, захватывающей игрой раскрепощенной воли и могучего интеллекта, изящным противовесом системе фронтального распределения. И только много позже, когда все многочисленные, не лишённые изящества и стройности схемы стали складываться в такую же систему захлебывающегося счастья безграничного потребления, дешевой радости каждодневного закупа, он почувствовал неладное. Блистательным венцом его торговой карьеры стали тогда головы лосося. Многоходовая, до мельчайших деталей продуманная афера, где очень многое зависело от дара убеждения себя и других в том, что продать можно абсолютно все, натолкнулась на какую-то преграду. И вроде бы все вокруг были согласны, что дешевые рыбные отходы могут послужить весомым социальным фактором в накормлении сырых и убогих, вроде бы сами голодные, судя по многочисленным маркетинговым исследованиям, были безумно рады поиметь практически даровую похлебку из голов благородных рыб, вроде бы все соответствующие, строго бдящие инстанции выдали одобрения и разрешения, но предел есть даже у свободы предпринимательства. У него вдруг истощились душевные силы, и тогда сразу пропала воля, хитрый ум отказался измышлять новые кротовьи ходы. Он перестал бороться с отступающей, мусор несущей водой и поплыл в ней, словно бездумное бревно, отстранясь и впервые за многие годы сумев увидеть со стороны себя, свои придонные мотивы, чужое суетливое величие, громогласие пустоты и комичность каждодневного подвига во славу вороватости. И когда наступил день лактации пушных зверьков, которые присоединились к слоям населения, отказавшимся потреблять неискренний корм, он взял в руки пустоглазую голову лосося, все еще красивую своими стремительными, рубящими воду очертаниями, и со словами «бедный Йорик» выкинул ее через левое плечо.

«Все на свете продается, кроме любви и голов лосося», – сказал он ей внезапно повеселевшим голосом, и она засмеялась в ответ.

Когда через несколько часов они подъехали к старинной деревне у самого Белого моря, солнце уже высоко стояло над горизонтом. Время белых ночей. Ночи белых ножей. Есть в северном лете какая-то жестокая сила. Она чем-то похожа на щедро украшенное рыбьей кровью резвое лезвие, которое без устали пластует тела, отбрасывает прочь всю нутряную смердь и одного добивается холодной своей силой – чистоты. Ни на минуту не дает солнце закрыть глаза, отдохнуть, накопить новые оправдания. Светло и тихо кругом, лишь изредка вскрикнет в лесу испуганная неприкрытой истиной птица, и ты чувствуешь сначала полную измотанность от своих же вопросов, ты наедине с огромным правдивым зеркалом белесого неба, ты словно стоишь перед могилой убитого Бога, и когда наступает уже предел человеческих сил, вдруг ощущаешь, как с тела, с души словно отваливается пластами чешуя накопившейся за долгие годы грязи, и слезы наворачиваются на глаза от ощущения пусть временной, пусть предсказуемой, но чистоты и ясности. Ты становишься сильным, тебе незачем изворачиваться и лгать, ты пьешь много водки и не хмелеешь, потому что тебя заразил, захватил уже, проник во все поры, в волосы, под ногти бесконечно добрый наркотик – дух Внутреннего моря. И с перехваченным дыханием, как пойманная в сеть рыба, ты поешь во славу его свои спиричуэлсы.

Они остановились у первого попавшегося дома и, постучавшись, вошли внутрь. По высоким ступеням, словно по трапу корабля, забрались в сени, потом, наклонившись перед низкой притолокой, ступили в комнату. У небольшого окна на стуле сидела крепкая старуха с живым внимательным взглядом. Лоб и щеки ее были темными, обветренными, а шея и узкая полоска вокруг лица – белые, незагорелые. «Славный черномордик», – шепнул он, но осекся.

– Здравствуйте, – старуха кивнула в ответ и быстро оглядела их с ног до головы. – Мы из города, не пустите ли пожить на несколько дней?

– Ну не знаю, – та смотрела с легкой усмешкой. – А кто такие будете, туристы?

– Нет, мы так, посмотреть, – он чувствовал себя неловко и поспешил добавить: – Мы заплатим.

– Ну не знаю, – старуха опять усмехнулась и замолчала.

– Мне очень хотелось на море. Я никогда не была, только один раз, в детстве, на юге. А тут ведь совсем рядом от нас, и никогда. Вот мы собрались просто и поехали. А остановиться не у кого, не знаем тут никого.

– Ладно, живите, чего уж там, Ниной Егоровной меня зовут, – старуха уже многое знала о них.

– А сколько стоять будет, – он попытался свернуть на знакомую стезю.

– Нисколько не будет. Так живите.

К морю, к морю. Она торопливо собиралась, выкладывала из сумки вещи, которые могли пригодиться. Куртка, резиновые сапоги, теплые носки, комариная мазь. И постоянно, неосознанно, принюхивалась – не донесет ли ветер тот давно забытый, детскими воспоминаниями расцвеченный запах. За окном начинал погромыхивать гром, в доме пахло сушеной рыбой, деревом, какой-то едой. Но того высокого, заставляющего слезы наворачиваться на глаза запаха не было. Она помнила, что на юге он был сильный, пряный, тяжелым потоком несущийся от воды, от галькой покрытого берега, от куч выброшенных на пляж гниющих водорослей. А здесь если и было что-то похожее, то совсем слабое, еле уловимое, призрачное и обманчивое. Какая-то граница, грань между жизнью и смертью, добром и злом, та, которую постоянно ищешь, иногда натыкаешься, но никогда не можешь устоять, удержаться на ней. Он с кислым лицом следил за ее сборами. На улице начал накрапывать дождь, небо затянуло тучами. «Смешно было бы думать, что можешь запрограммировать себе чувства. Да и пошло это как-то – раз к морю, значит, нужно ахать и восторгаться, производить готовый набор телодвижений и ощущений. Трезвее нужно быть, циничнее. А то чуть-чуть разомлешь, расслабишься, поверишь,

как тебя тут же мордой в цветущую клумбу: хотел – на, жри свои вонючие растения», – он был давно наученным, умным зверьком.

– Собрались? – Нина Егоровна откровенно смеялась над их яркой городской одеждой. – Сядьте, чаю попейте, затем можете на убег сходить за рыбой.

– Что за убег? – недовольно спросил он.

– Ловушка такая. Пойдете направо от деревни, сначала по берегу, потом по кечкоре, там увидите. Километров пять до него.

– Кечкора какая-то. А это что за зверь?

– Дно морское. Пока куйпога стоит, нужно идти. Потом вода пойдет – не пройдет.

«Издевается, – решил он про себя, – неужели внятно нельзя объяснить. По-русски. Вроде все здесь русские, не карелы и не чукчи».

Старуха словно угадала его мысли:

– Куйпога – это когда вода уходит и стоит далеко. Отлив, по-городскому. Уйдет так, что не видно ее. Все, что в море мертвого было, оставляет. Водоросли, рыбу, может тюленя выбросить. Иногда аж страшно делается – вдруг не вернется. Но возвращается всегда, всегда... – она улыбнулась каким-то своим мыслям.

Сели за стол. Нина Егоровна взглянула в окно, затем резво вскочила и накинула крючок на входную дверь:

– Андель, телебейник идет, нахрен его.

Он фыркнул, она в веселом недоумении широко раскрыла глаза. Старуха же охотно пояснила:

– Коробейники были, знаете? По дворам ходили, торговали, а глядишь – и украдут чего. Этот же все агитирует, раньше – за одно, теперь – за другое. Вроде слова умные говорит, а смысла за ними никакого. И болтает, болтает: «Теле-теле-теле».

Вместе посмеялись, успокоились.

– А вы как, отсюда родом? – спросила она старуху, с удовольствием вслушиваясь в ее вкусную речь.

– Отсюда, милая, отсюда. Восемьдесят три года, и все отсюда.

– И как жили? – Они явно нравились друг другу.

– А как жили. Тяжело жили. Я с семи лет уже нянькой по чужим людям. А потом в море зуйком ходила, здесь в Белом, и на Баренцево ходила. На елах мы тогда рыбачили, с парусами еще.

– А где тяжелее было, – заинтересовался он, вспомнив внезапно свою службу на севере и зимние шторма, когда слоновыми тушами валялись по берегу разбитые бурей бетонные причалы.

– Везде тяжело, – усмехнулась старуха. – Первый раз как вышли в Баренцево в волну, так мне ушанку на лицо привязали, чтоб туда блевала. Зато сразу привыкла, со второго раза уже за полного человека брали. Замуж в двадцать лет вышла. Вы-то муж с женой будете?

Они замялись:

– Да нет, мы так, думаем...

Старуха проницательно взглянула на нее, внезапно покрасневшую, затем на него:

– Был тут у нас в войну один такой. Глупый. Не как все. Ходил все, думал. Как увидит красивую, вроде тебя, так потом на станцию тридцать верст пешком уйдет. Все на поезда смотрел, на женщин проезжающих, искал чего-то... – она посмотрела на часы. – Ладно, идите уже. А то не успеете.

Они вышли из деревни, пересекли заброшенное поле, поросшее высокой жесткой травой, из которой поднимались оголтелые тучи комаров, и ступили на кечкору. Та простиралась почти до самого горизонта, лишь в еле видимом глазу далеке сверкала кажущаяся узкой полоска воды, за которой угадывались туманные очертания островов. Дно морское оправды-

вало свое корявое, бородавчатое название – посреди вязкой, чавкающей глины тут и там вышались скользкие валуны, покрытые зеленой слизистой тиной, лужи мутной стоячей воды составляли аляповатый, тоскливый узор, повсюду валялись обломки раковин, мешали ступать грязнобородые кочки фукуса. На небе царил такой же раздрай. Верхний слой тяжелых, мертвенно-серых облаков не оставлял ни единого просвета. Ниже беспорядочными клочьями неслись белесые обрывки тумана. С двух сторон приближались темно-синие, безнадежные, как арестантские думы, грозовые тучи. Из них с невнятной угрозой погромыхивал гром. «Полная куйпога», – мрачно сказал он, жалея уже, что дал себя втянуть в эту беспросветную авантюру. Она же молчала, только широко раздувала ноздри, все пытаясь поймать тот свободный, вольный запах, о котором мечтала всю дорогу.

Вдалеке показался побег. Они быстрым шагом дошли до него, достали из ловушки пару десятков мелкой трепещущей камбалешки.

– Пойдем назад, – он замерз уже под моросящим дождем и с опаской смотрел на приближающиеся отвесные столбы полноценного ливня. – Пойдем!

– Нет, я хочу купаться, – решительно, со слезой в голосе сказала она.

– Да где здесь купаться, в лужах, что ли? – он говорил раздражительно и зло. – Тебе же сказали – куйпога. Да и холод собачий, замерзнешь.

Но она не слушала. Решительно сняла с себя сапоги, одежду повесила на вбитый в глину кол и, оставшись совсем голой, повернулась к нему с внезапной улыбкой:

– Ты увидишь, все будет хорошо!

«Что хорошо, что здесь может быть хорошего?» – не понял он и вдруг заметил какую-то перемену. Дувший с берега ветер вдруг стих. Сначала еле-еле, словно младенческое дыхание, а потом все сильнее задул ветер с моря. Он был ровный и ласковый, как утреннее объятие, и нес в себе простые, изначальные вещи. Соль и йод были в нем, и любовь глубоководных рыб, и когда-то давно прозвучавший крик малолетнего рыбака. «Кончилась куйпога, кончилась!» – кричала она, убегая, а навстречу ей сначала мелкими ручьями, а потом все сильнее, веселыми потоками пошла вода. «Не может быть», – прошептал он, упорствуя в неверии своем, и тогда сошлись две грозовые тучи, одна похожая на лысый профиль хитрого дедушки, другая – с нависшим над усами крючковатым носом любимого вождя, стукнулись лбами, и грянул гром, разметавший их на мелкие обломки. «Вера! – позвал он, и последний раскат унес с собой рокошущее «Р», оставив «Е» и «В» и «А». – Не может быть! – он пытался охладить поднимающуюся внутри горячую волну чем-нибудь проверенным и разумным, и тогда в разрыве туч вдруг блеснуло яростное солнце. – Не может быть!!!» – упрямылся он, смахивая набежавшие слезы, и тогда сверху обидно, прямо в лоб стукнула его задорная сливовая косточка. А потом вернулась она, вся покрытая сверкающими каплями воды и кристаллами соли. Длинные, прохладные и тугие листья ламинарии спускались у нее с плеча, лаская теплую, вольную кожу, и глаза ее невинные, губы ее винные что-то говорили ласково.

– ...щается всегда, – за ветром угадал он окончание.

На Суме-реке

Проехали, протряслись по пыльной, удушливой грунтовке последние семьдесят километров, а потом прошуршали шинами по мягкой, лежалой хвоей покрытой лесной дороге, остановились у разрушенного деревянного моста и разом, вместе глубоко вдохнули воздух и сказали «ах». Было красиво. Широко, неистово, с какой-то страшной страстью катила свои темные воды Сума-река. Трухлявым гнилозубьем торчали из нее старые бревна опор, и вода раскачивала их постоянно, хотела вырвать из грозной расщелины рта бывшие, ненужные теперь обломки. Светлой пеной злилась она в узких промоинах, в неудобных искусственных лазах и, вырвавшись на свободу, широко разливалась среди лесных берегов. Дальше, куда хватало взгляда, река уже была спокойной и сильной, лишь недовольно пофыркивала на частых порогах, вновь смиряя свой изменчивый женский норов на широких плесах.

Сразу, чуть только затих последний, слабеющий рык усталого перегретого мотора, Федор схватил из багажника удочку и побежал к реке, на ходу разматывая сникшую от долгого безделья леску.

– Куда, а костер развести, – крикнула она вслед, но он только мотнул головой.

Оскользнувшись, спустился по крутому травянистому склону и встал на берегу, у самого края, границы между живой говорливой водой и спокойной сосредоточенностью земли. Затем, уже не торопясь, пронизанный величавыми звуками ровно шумящего леса, насадил на крючок сильного багрового червя, плюнул на него по неизвестно кем заведенной традиции и закинул наживку далеко в реку. «Сума, дай рыбы», – сказал и усмехнулся своей прямолинейности.

Поплавок закачался в центре секундной, недолговечной мишени и поплыл спокойно по течению. Федор приготовился ждать, гася внутри неосторожный огонь азарта, но винная пробка с обгорелой спичкой посередине вдруг резко и косо ушла под воду. Сердце глухо гукнуло, руки, забыв о разумной, отточенной последовательности действий, суматошно дернули удилище. Леса натянулась. Время замерло. Обострившимся вдруг зрением он увидел, как в темной глубине мелькнула серебряная вспышка, как метнулись в стороны темные черточки поверхностных мальков, как вязкая вода словно вскипела под резким напором напряженной, до предела натянутой жилки, и расступилась перед ней, как перед носом отчаянного лилипутского скутера. «Тонковата леска, тонковата леска, тонковата...» – закружилась, заиклилась испуганная рыбьей страстью мысль, а ладони ощущали, как мелкой дрожью трясется удилище, как микрон за микроном рвутся волокна нити, соединяющие его, жаждущего, и ее, вырывающуюся. Вдруг случилось – воды расступились и отдали ее. Отвергли бесстрастно, хотя только что держали сильно. От неожиданного отторжения этого Федор не удержался на ногах и шлепнулся задом в мокрую траву, удилище высоко держа и сжимая изо всех пальцы белеющих сил. Так и сидел ошарашенно, а она плясала над ним высоко в воздухе, живая и блестящая. Наконец очнулся он и стал суматошными руками хватать воздух, а рыбка все ускользала, все билась, пока не прижал ее к животу, к самому чреву, сильно и нежно, и не скользнул пальцами по серебряной чешуе, не вынул осторожно из губ ее пронзительный крючок и не опустил в баклажку с водой у ног своих.

Это была большая плотва. В других обстоятельствах могла она быть рыбой сорной, но не теперь, когда главным было не наличие в ней многих костей, не вкус ее плоти, а стремительная обтекаемость тела и неистовая живость движений. Она стояла в прозрачной, слегка красноватой воде и тихо, недоуменно шевелила плавниками, словно пытаясь осознать невероятную, произошедшую с ней перемену. Рот ее, раненый, открывался и закрывался – казалось, что шептала она беззвучно: отпусти меня, отпусти меня, отпусти... Федор так же тихо стоял

над ней и глубоко дышал. От ладоней, на которые неожиданным даром налипло мелкое серебро, доносился тонкий запах чужой жизни, полной стремительных перемещений в сильных, но добрых течениях, беззаботных игр под зыбкой луной на водной глади и той, внимательной, небесной, и дикого страха, когда черной тенью проносилась где-то рядом острозубая, жестокая опасность. Он хорошо, до боли, помнил, как год назад впервые увидел ту, что сейчас ждала его у костра. Как впервые захлестнула ее улыбка, незаслуженная им, бесплатная, осветившая веселым фонариком его мрачную, пьяную отупелость. Как сразу понятен стал ему восторг и обожание, с которыми смотрели на нее дети, учившиеся искусству танца, да и не только танца, а вообще тому радостному, доверчивому отношению к жизни, что казалось давно уже невозможным в этой стране. И когда однажды он, быстро постучавшись и не дождавшись ответа, дернул дверь в раздевалку и увидел ее, смутившуюся, но все равно улыбнувшуюся в ответ на его быстрый взгляд, увидел снежно-белый треугольник ее белья над гладкой стройностью ног, то понял, что пропал, что сдался без боя, что сработали все те триггеры, над которыми смеялся всегда, полагая их выдумкой таких же хитрых, как он, для простаков, постоянно ищущих новых учителей и новой веры. И дрожала потом многие месяцы в руках тонкая, напрягшаяся леска, натянутая до предела своего, когда чужими стихами, своими словами, зримым отчаянием от невозможности, невероятности происходящего он поймал ту, которая сейчас ждала его у костра, держал ее крепко и жестко, выводя на слепящую глаза поверхность из темного омута обычных, привычных, семейных отношений. А потом, когда случилось, когда на смену ее спокойствию пришло пронзительное ощущение свободного полета в пропасть, то не было дня, чтобы не пыталась она вырваться, оборвать неправильный ход вещей и чувств и не замирала потом, усталая, одно лишь шепча в страшном и сладком изнеможении: «Отпусти меня!»

Солнце высоко взобралось по красным стремянкам высоких сосен и положило ему на голову горячие ладони. Федор наконец решился. Он прощально посмотрел на тяжело дышащую рыбу и осторожно погрузил баклагу с теплой уже водой в свободную прохладу реки. Затем повернул ее набок. Рыба недоверчиво постояла на месте, потом устало и благодарно шевельнула плавниками и хвостом, но тут же перевернулась кверху брюхом и всплыла на поверхность. Равнодушная вода сразу понесла вдаль от берега, к середине реки, а там ее с восторженным криком схватил внимательный, грязно-белый баклан и суетливо замахал крыльями, унося добычу. Федор дернулся было кинуть в него камнем, схватил наугад горсть с земли, но в кулаке оказался лишь пересушенный серый песок, который безвольно сыпался меж пальцев. А от костра донеслось призывное посудное позвякивание...

Костер был по-женски небольшим. Возле него аккуратно легла на чистую хвою невесть откуда взявшаяся белая скатерка, под которой, на случай сырости, лежала клетчатая клеенка. Сверху, в уютном походном беспорядке, стояли плошки, тарелки, пластмассовые корбочки и стеклянные банки с разнообразной, любовно приготовленной едой. В центре возвышалась горка аккуратно порезанного, изящного в своей непритязательности черного хлеба. Салат овощной, из испанского цвета помидоров и ярко-зеленых огурцов, салат мясной, где колбаса и лук находчиво заменяли рябчиков с ананасами, копченое сало со смуглой кожей и невинно-розовыми прожилками мяса было обсыпано короткими трубочкам зеленого же лука. Рядом лежала горка крупных, молочной прозрачности долек чеснока. Над костром, на тонкой жердине, покачивался в потоках раскаленного воздуха круглый важный казан, где тесно, по-братски, поддерживали друг друга перед лицом неминуемого уничтожения разваливающиеся кругляши картошки и крупные в своей бордовой волокнистости куски тушеной говядины. Рядом, опасно балансируя на неровной, дикой поверхности случайного камня парил, готовясь к своему выступлению, приземистый, закопченный во многих битвах чайник с помятым боком. В нем замер, предвкушая веселый раскардаш кипения, густой, пронзительно коричневого отлива, настой ссохшейся Индии и северных, местных трав: лаковые листья брус-

ники вольно, словно в родном лесу, переплетались в нем с рыхлыми ветками черники, а поверх них заплывала толокнянка и несколько случайных сосновых хвоинок. Неподалеку, куда Федор первым делом бросил взгляд, на самом солнцепеке лежала и накапливала резкую, холодную ярость завернутая в мокрую белую тряпицу бутылка водки. Чуть поодаль, в тени густой елки, степенно и ласково белела трехлитровая банка домашнего деревенского молока.

– Садись, рыболов, будем обедать, – сказала она, и он послушно сел на свернутый спальник.

– Ешь, – поставила перед ним миску с дымящимся варевом, положила ложку. Федор быстро свинтил голову холодной бутылке, изрядно налил себе, плеснул на доньшко ей: – За что пьем?

– За тебя, конечно, – он торопливо, чтобы не успела возразить, сделал несколько хороших глотков и взрослым умением напряг верхнюю часть глотки, когда взбесившаяся жидкость рванулась обратно. На глазах выступили слезы. Он стер их ладонью, которая все еще пахла неистовым танцем рыбы, и потянулся к еде. Правой рукой держа ложку, он в левую умудрился взять, зажав между пальцами, хлеб, сало и светлую хрупкость молодого чеснока. Вера с удовольствием смотрела, как он ест. Ей нравилась эта жадность к жизни, ко всем ее проявлениям, словно он точно знал, сколько ему отмерено, и спешил впитать в себя как можно больше солнца, дождя, воздуха, травы, слов и звуков, красок и прикосновений. Она сама была такой же, лишь с легкой поправкой на женскую осторожность и внимательность. Ему же целый мир был мал, мил, недостаточен. Он выпивал еще, ел, шутил, что-то рассказывал, а она просто сидела и любовалась его трехдневной щетиной, плечами, донельзя натянувшими старый дырявый тельник, светлыми выгоревшими бровями, которые иногда исчезали совсем, когда он, во время душевной дрожи, выщипывал их напрочь, с кровью, чтоб только унять злую силу безумных рук. Больше всего ей нравилась та ямка под кадыком, куда так удобно помещался ее нос, когда они спали вместе. И пахло там по-особому, щемяще и ласково. Поэтому опять не сказала ему ничего. Август был совсем близко.

Федор быстро стал клевать носом. Глаза его то и дело застилала сладкая пленка сна. Усталость от долгой езды в правильных пропорциях смешалась в нем с лесным воздухом, который душисто расправил его скукоженные городские легкие, и с радостью бесконтрольной выпивки. Они быстро разбили палатку прямо на зыбком, словно женское непостоянство, черничнике. Внутри ее воздух сразу нагрелся, стал таким горячим, что даже самые ловкие из комаров, протолкнувшись внутрь, сидели теперь в затененных углах и тяжело дышали. Вера расстелила простыню, и он ухнул в сон, голой спиной ощутив всю подспудную ласковую неровность лесной подстилки. Несколько раз до него доносились легкие мыльные звоны железных мисок и кружек. А потом он почувствовал ее нос, прилаживающийся у него между ключицами, да благодарную, нежную колкость на своем бедре.

Когда проснулся, еще несколько минут полежал в томительном блаженстве. Жара спала. Был тот редкий и кратковременный момент, когда север дает почувствовать человеку простую, незамысловатую благодать, когда не нужно надрывать силы, чтобы согреться, насытиться, выжить. Когда природа учит новым, непривычным на вкус и чуждым ей словам, таким как «нега» или «комфорт». Солнце походя, ленивыми скользящими прикосновениями ласкало туго натянутый тент, длинные сосновые тени были рассеянно нежны, слух благодарно впитывал добродушное мурчание реки. Даже гнус куда-то исчез ненадолго, а на палаточном брезенте медленно колыхались тени травы, и было видно, как на одной из них осторожно ощупывает усиками путь неторопливый муравей. Потом от костра донесся запах свежего кофе, и Федор вылез на воздух, еще млея всем отдохнувшим телом. Вера улыбнулась ему навстречу,

а он вдруг почувствовал, как в ступню вонзилась затаившаяся в сапоге сосновая игла, резко и неожиданно, словно ждущая в засаде обреченная оса.

«Я не хотела говорить, не могла. Знаешь, страшно это все. Мне хорошо с тобой, очень хорошо. Ты даже не можешь представить, как. Мы уезжаем куда-нибудь, и я забываю обо всем. Чувствую, что ты мой. Забываю обо всем. Я люблю тебя, очень люблю. Но ты ведь знаешь, что мы не одни, что нельзя так. Не принято, не положено». «Кем не принято и куда не положено?» – он пытался ерничать, но видел, что бесполезно все. «Я люблю твою жену, и детишек твоих люблю. И не могу разрушать, понимаешь, не могу! Я сама была такой же, когда ждешь, а человек не приходит. Или приходит с безумными глазами, и ты знаешь, что они видят не тебя. Ты говоришь с ним, а он сквозь тебя смотрит и улыбается. Поэтому ты не должен сердиться. И разубеждать меня не нужно. Я все решила. Мне нужна семья, только моя, ни с кем не деленная. Чтобы кормить своего человека, чтобы стирать ему. Чтобы ужинать вместе и просыпаться вместе. И сыну моему нужен мужчина. На рыбалку чтоб его брал, какие-то штуки чтоб мастерили. Я не знаю, как это у вас получается, но одного присутствия мужского порой достаточно там, где мы вывернуться готовы и не получается ничего. Вот и все. Только не сердись и не обижайся. Пойми меня. Ты знаешь, я ведь не представляю, как это все будет. Я не знаю, как без тебя. И во всем моя вина. Если хочешь, я буду спать с тобой, когда только скажешь. Я смогу, выдержу. Но ты не мой...»

– Ну и кто же сей счастливец? – Осиный яд из пятки добрался до сердца, но показывать этого было нельзя.

– Георгий, ты его видел. Он хороший. Он меня любит, давно уже. Я уже согласилась.

– Он-то любит, а ты? – Федор знал, как сделать больно.

– А я люблю тебя, – стерла испачканной в саже рукой каплю с ресниц, и под глазами легли черные боевые полосы.

– Когда все состоится?

– Он приезжает в августе, в самом начале.

– Через два дня, – уточнил и налил себе полный, хороший, успокоительный стакан.

И в ту недолгую секунду, пока не успел еще обезболить мысли хмель, вдруг сам понял: «Ты все говоришь правильно. Так и должно быть, я предчувствовал. Но только нет ли чувства, что мы будем делать разумные, положенные, принятые вещи, и тем самым шаг за шагом будем приближаться к трагедии. Нет, скажу как есть – к хаосу. Полному и для всех. Нет такого чувства?»

Она молча, бестрепетно мыла посуду, а он опять спустился к реке. Сел на бревно на берегу и стал смотреть на воду. Ничего не изменилось. Все так же извивалась Сума своим черным телом, так же балансировала на грани изменчивости и постоянства, лишь в шуме ее он стал различать какой-то металлический, скрежущий отзвук. Гнусило комарье, облеплявшее, словно мокрая, надоедливая пыль, его голову и шею, а он не отмахивался суматошно, лишь иногда проводил ладонью по лицу, размазывая кровь и мелкий прах. Кругом стояло светлое вечернее марево. Было тихо. Лишь иногда доносился откуда-то издалека то ли взлай, то ли вой. Он вспомнил, как недавно видел передачу о странных животных – австралийских сумчатых дьяволах. Ничего в них не было страшного – короткое, толстое тело, неуклюжие лапы, мелкая зазубренность рта. Питались они в основном падалью, изредка прихватывали какое-нибудь вкусное животное, но и самих их часто убивали такие же голодные сородичи. Поразило его тогда одно – их любовь. Самец за шкуру волочил самку в нору, она верещала и сопротивлялась, кусала его за все места, и тогда были они оба от боли и страсти, рвали душу и тело в нелепых объятиях, словно сами чувствовали, как близко, рядом стоят их смерть и любовь. Словно мучила их нераздельность, слитность счастья и беды, и совсем нет зазора, нет места

для отступления или раздумий, все серьезно и разяще. Потом они расходились, окровавленные и измотанные. Иногда же он убивал ее. Бывало, что и наоборот.

А неподалеку бродил, прислушиваясь к их воплям, старый мудрый кускус. Он был не настолько глуп, чтобы подать себя на ужин. Но и не настолько боязлив, чтобы прятаться в голодном лесу. Он знал, что бывает иногда удача, и не прочь был поживиться свежим мясом чужих страстей. Длинное рыльце в редком пуху осмотрительно ловило ветер, и не было мыслей о любви или смерти, а лишь о спокойной поживе. Кускус не любил рисковать и платить по счетам.

Федор встал и пошел к разрушенному мосту. Между опорами еще кое-где лежали бревна перекрытий, и он захотел вдруг перейти на тот берег. Вода под ним шумела сильно и зловеще, и он старался не смотреть вниз. Перескакивая с бревна на бревно, каждое из которых было опасно подточено временем, изъедено в коричневую влажную труху, он старался балансировать, хотя знал, что не успеет понять – дерево под ногой или форму его хранящая пыль. И все равно неведомая жажда узнать высший жребий толкала его вперед. Так добрался до середины, и тут оскользнулся, руки хватанули пустой воздух, по спине многоножкой пробежал страх. Лишь изогнувшись до поясничной боли, сумел устоять на месте и в сгустившемся времени увидел, как медленно и величаво поднимаются из глубины воронки водоворотов. Он сел на бревно верхом, все еще со сведенным дыханием и колотящимся сердцем, и тут же вспомнил, увидел опять, почувствовал тот узкий крутой трап из корабельного кубрика наверх, на палубу, на воздух.

Он соскользнул тогда обратно, коленями пересчитав все ступени. Но анестезия физической болью была краткой. Вокруг, в тусклом свете тесного кубрика, все расположились по интересам. Справа, в узком пространстве между двумя рядами железных шконяр, устроена была «битва гигантов». Двое самых щуплых из молодых бойцов лупцевали друг друга по лицу, подбадриваемые пинками веселящейся публики. Слева, в глухом углу, «отбивали клинья». Крупные, дебелые «караси» послушно принимали позу бегущего египтянина и получали по женственно круглым задкам по десять ударов деревянными, выкрашенными «шаровой» краской в мертвенно-серый цвет обрубками. Предназначены они были для «борьбы за живучесть» в случае пробоин, но применялись для решения более насущных проблем. Азартные игроки состязались в искусстве точного и сильного удара, после которого испытуемый падал на колени. В центре, на самом свету, происходило наказание особо провинившихся. «Залупу достань, сказал, будешь теперь робишку лучше стирать, сосатель мамин», – и чайной ложкой по достоинству, раз, еще раз, до голубиной синевы. Внизу, под ногами, ползало по палубе полудобровольное «чмо», с ветошью и обрезом, замывая следы крови. Оно уже получило свое, и было никому не интересно.

Весь этот жадный, чужой муравейник казался какой-то нереальной, но хорошо отрепетированной пьесой. Все персонажи хорошо знали свои роли, и не было мысли ни в ком, что, может быть, надо как-то иначе, не так. «Нас гнобили, теперь мы хоть оторвемся», – и так по кругу, по цепи, по гладкому железному кольцу. Так принято, заведено, освящено традицией, и зачем рассуждать. Легче бежать со всеми в одной упряжке.

– Что, свалить хотел, отец? – подступил тогда к Федору молдаванин Ваня. Был он мелкий, кривоногий, носатый и могучий в знании того, что ему положено.

– Не выйдет бежать. Вместе со всеми, родной. Сымай штаны и на клинья.

– Не буду, – Федор очень боялся, его трясло, бегающий взгляд метался повернувшимся к нему лицам, лишь упрямый голос говорил свое.

– Не будешь, – радостно удивился Ваня, – тогда твоим всем еще по пять клиньев.

– Пускай, – когда блудит логика, остаются чувства.

– Они сами согласились. Они участвуют. Я – нет.

И резкая пощечина сразу. И горячая горечь стыда на щеке. И вольная радость бездумного кулака. И нет жалости к покотившемуся тщедушному тельцу. И прочь, прочь, из духоты на воздух. И в спину вой:

– Вешайся теперь, падла, вешайся!

Вентиляшка была маленькая и в чем-то уютная. Тесно навешанные на переборки приборы под корпусами своими таили внутреннее, умное и спокойное знание. Тихо, кап-кап-каплями падала вода из надтреснутого кожуха громоздкого насоса. «Что за странные зверьки, – спокойно уже и отстраненно думал Федор, – что за странные понятия. Жрать то, что найдут, делать то, что положено, вести себя в соответствии. А если почувствуют вдруг чутким своим носом, что где-то пожить можно безнаказанно, то живутся запрительно. Потому что и так тоже положено. Есть ли у них имя, безнадежных?» Глаза давно уже нашли печальный, одинокий крюк на высоте человеческого роста. Рука сама, сначала нерешительно, а затем уже уверенно потянулась к заготовленному загодя мотку надежного, верного шкерта. Но натолкнулась на что-то странное в глухой щели между прибором и переборкой. Там лежала книга. Дешевая бумажная обложка и незнакомая фамилия на ней. И сразу, с готовностью, словно отдаваясь, открылась она на бестелесной, слабой странице, где, кем-то подчеркнутые, ждали его слова: «Любопытство, приязнь к человеку есть не свойство отдельного характера, а какой-то изначальный, главный закон, без которого не работают все остальные, самые благовидные, устремления».

Он долго сидел над водой. Не слышал больше бурления, не видел торопливости струй. Пальцы сами находили, один за другим, волоски на бровях и выдирали их с влажным хрустом. Там, в глубине кожи, прятались сочные луковицы. Они были прозрачные и прохладно-нежные, с темными кровавыми точками на концах. Он прикасался ими к губам, и это были словно крошечные, родные и стыдные поцелуи. А потом выпускал волоски из пальцев, бросал вниз, и долго видел, как они летели, бездумные, во тьму.

«Не зарекайся от Сумы, – и больше не было бровей, – Не зарекайся от Сумы, – лишь кожа голая остра. – Не зарекайся».

А после пришел железный лязг и прогнал лесные тихие шумы. На дороге показался огромный и неуклюжий – на сушу вылезший корабль – задержанный бульдозер. Остановился у моста, из него вылез человек. Долго смотрел на Федора, потом крикнул:

– Слышь, ты. Где здесь гуцулы лес валят?

– Не знаю. Езжай себе, слышь. Не знаю куда.

Когда вернулся, увидел, что ждала его. Залез в палатку и на спину лег. Она в углу сидела настороженно, с каким-то испугом из сумрака глядя. Боялась не его, но больней – себя. Тогда сказал он: отпускаю, сказал: тебя, сказал: совсем. Ты так хотела, на, бери теперь. Теперь бери себя. Не сомневайся больше. Есть закон. Здесь есть закон – всем, каждому по дратве, и по штыку, и по стыду еще. А после – по любви, по самой, по больной, с размаху, чтоб размозжить, чтоб кончен бал. Чтоб жить потом как все, быть одиноким и боязливым, словно пестрый пес, который тянется к руке, ее желая, готовый ласку на спину принять, но вдруг отпрыгивает в сторону, не веря и не решаясь обмануться вновь. Бери любовь как кость, как данность, тащи ее в уютный уголок, и там грызи, в кровь раздирая десны об острые дробленые края. Не верь и не жалея, не бойся, не зови, не плачь.

Она целовала его мелко-мелко, и часто, словно крестила – лоб, плечи, шею, грудь. А он бездумно лежал под мелким градом ее губ, где каждое прикосновение было как укол, легкий, болезненный, острый. А после, когда она ободранно казнилась, и даже пальцы ног его своим

орудьем сделала предсмертным, и криком разрывая ночь на клочья, зверей лесных под землю загоняла, он лишь лежал. Потом услышал, как вдалеке раздался вой такой же, заблудший, одинокий, никакой.

Утром машина никак не хотела заводиться. А когда завелась, то за шумом мотора он слышал давешний вой. Он оказался визгом далеких бензиновых пил.

Приехали в город засветло. «Прощай-прощай» – и вся недолга. И начал жить без нее. Он постригся и побрился, стали отрастать брови. Он прожил так день, и другой. И однажды увидел их с кускусом. Тот был в праве своем и держал ее за руку. А у Веры по лицу пробежали облака. Хорошо, что она его не заметила.

Многие сейчас говорят, что не знают ревности, мол, проще без нее и лучше, все свободны, как птичьи перья на ветру. Глупцы, у них просто слабое воображение. Или плохая отметка по геометрии в аттестате зрелости.

Вечером того же дня он напился водки. «Я за пивом, догнаться», – это жене, чтоб не знала ничего, не тревожилась. А у самого душа наразрыв, грудь нараспашку, чистый весь, аккуратный. И пошел, аист, пошел, как со штыком – на танк, как наугад – на паперть, как на царя – с горохом. И одно только слово твердил: Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо. Говорил себе, уже зная – не зарекайся от Сумы. И тут же – не навреди, не сломай, не участвуй. Но крови хотелось красной, и мозгу в башке было тесно. А кускус – тоже, в общем-то, несчастное животное. Не виноватое. Сумчатое. Другое. И сам себе – не сломай. А руки чесались сильно. И кулаки гудели глухо. Но не участвовать, нельзя подписаться на злое, нельзя, не сейчас, никогда. Но в голове – не сумливайтесь, вашбродие, стреляйте. Но в голове заклятие – бир сум, бир сом, бир манат. Но неистовая нежность к безумной стране. И повстречал на улице темной ватагу молодых бойцов-удальцов и гикнул радостно, и побежал навстречу. Но руки при себе держал, словами хлестался, кичился, крошился. Тогда кастетом по башке по глупой, рады услужить тебе, самодуров, сумароков ненаглядный. И разбежались молодцы, потому что страшно упал, головой в асфальт нырнул, как в перину. Но хоть бы что – поднялся, поллица снесено, кровь хлещет, улыбается. Пошла, родимая, пошла реченькой, своя пошла, не чужая. Спасибо, господи, легче стало, ушла дурь немножко. Но не вся ушла. Чуть осталось. Чуть осталось, затаилось. А потом опять стала множиться – копировальной техникой называется. И добрел до дома ее, светла терема. И позвал кускуса на побоище, выяснение отношений, на простую битву словесную, без оружий применения.

– Ты пьян, – сказал Георгий. – Уходи.

– Ты не понимаешь, – сказал Федор, – ты брат мой. И я с ней говорить хочу.

– Я тебя не пущу. Уходи. Сейчас милицию вызову. Я права знаю.

– А я много плавал. Я видел небо. В сторону отойди, – и видел, как она в окно смотрит только на него, на лицо его, с сомнением смотрит, с надеждой, с болью.

– Все, пошел прочь, – ощерился кускус в норе.

– Сам пошел прочь, брат, – и опять – прямым курсом, к подъезду ее, к окну.

Сзади заверещали, завизжали, на спину прыгнули. А он руки свои внимательно держал, не дай бог, а ногами шел, переступал шаг за шагом. А сзади царапался, кусался, мелким бесом вился Гоша, Георгий, дружище. Тут соседи набежали, сначала толкаться стали, отпихивать, потом рубаху порвали, тельник до пупа полоснули. А он шел, уже в подъезде был, кровь текла старая, новая ли – не важно, не замечал. Тут мигалками замигали, дубинками застучали – приехали порядки наводить. А он шел, лишь руками за перильца хватался, помогал себе. Тяжело

шагал, свинцово, одна ступенька, другая – медленно. Один раз свалили его, замелькали кулаки, рук и ног сплетенье. Запыхались немного все, но держат. А он трезвым голосом:

– Мужики, что за групповуху тут устроили? – и лишь хмыкнули чуть-чуть – поймал момент, вырвался, и вперед и вверх, через три ступени, через четыре. Следом бросились, ведь азарт уже, уже слюна капает. А он впереди своры, голова битая, руки чистые, в мелком серебре, уж догнали было, тут она дверь распахнула, светлая:

– Пустите его. Он мой! Мой! – слышите?

Жабы мести и совести

По вечерам к костру приходили жабы. Они были пупырчатыми и противными на вид, какими бывают комья неясной морской грязи, приливом выброшенные на берег. Хотя происхождения они были земного. Но не совсем, потому что жили у Белого моря, и черт их знает, где они на самом деле родились. Жабы молча сидели вокруг костра, грелись и о чем-то думали. Яркое пламя отражалось в их выпуклых, нечеловечески мудрых глазах, а когда костер затухал, они почти залезали в теплую золу. Ночи в августе были уже холодны.

Омерзение, которое охватило Жолобкова при первой с ними встрече, с течением дней сменилось искренним интересом и даже симпатией. Уж больно ненавязчивы и неуклюжи они были, совсем не умели прыгать, а когда попадались на узкой лесной тропинке, – медленно отползали в сторону, попеременно переставляя все четыре лапы и волоча по земле грузный живот. В них не было лягушачьей тревожной прыгучести, опасной и холодящей душу приземленности змей. Словно ручные, жались они поближе к людям, будто изо всех сил желая донести до них какую-то молчаливую, важную правду.

Сначала Жолобкова с братом его, Ваней, высадили в совсем неудобном месте. Голая скала возвышалась невысоко над уровнем серой морской воды, вокруг простиралось небольшое топкое болотце с хилыми, чахоточными соснами, а крики слетевшихся тут же на возможную поживу бакланов нагнали такую тоску и тревогу, что, лишь разведя скороспелый костер и быстро пообедав наскоро сваренными макаронами, смогли они успокоиться и осмотреться вокруг.

Залив морской был довольно узким, плавно изогнутым и сияюще-синим посреди серых высоких скал, покрытых легкой небритостью седых мхов, чахлых деревьев и курчавых кустарников. Словно бесстыжий клинок, рассек он дремотный покой камня и замер в нем в бессилой истоме, что приходит на смену опустошающей ярости. Легкий ветер с моря гнал чуть заметную рябь по каленой поверхности стали, а солнечные блики резали зрачки непристойной зрелостью и совершенством света. Ни следа человеческого не было заметно вокруг, лишь на недалеком взгорке кренилась на последнем издыхании старая, трухлявого серого дерева триангуляция. Вдруг поняли оба, что все это спасительно красиво, и посмотрели друг на друга улыбочиво. А когда Жолобков шагнул пару раз в сторону от живой, легким плеском шепчущей воды, то нашел топор. Был он крепко вогнан в железную, морем выбеленную ткань толстого, в обхват, плавника. Небольшой, кованный еще, с длинной, в метр, рукояткой, он казался прижившимся здесь, спокойным и равнодушным. Но лишь Жолобков с натугой вытащил его из звонко скрипнувшего дерева, сразу ощутил всю скрытую силу в широте размаха, ладной убедительности и выверенной точности орудия.

– Смотри, подарок мне, мечта канадского лесоруба, – он показал Ване топор, и тот завистливо крякнул – ложка к обеду была хороша.

– Слушай, хорошо, что поехали, хоть помиримся окончательно, – брат напористо посмотрел Жолобкову в глаза, и тот на секунду поверил в такую желанную возможность.

Быстро наступившая жажда под палящим солнцем вдруг притушила закипавшее в душе восхищение окрестной красотой – пресной воды рядом не было. Тогда быстро решили – нужно дальше искать, накачали резиновую лодку и принялись носить в нее несметные сразу пожитки – палатку, спальники, удочки и спиннинги, сетки, котелок с чайником, коптильню для рыбы, полиэтиленовый тент и запасную одежду. Жолобков стоял по щиколотку в жидкой глинистой грязи, что приливом превращается в морское дно, и держал верткую, вплавь рвущуюся «резинку». Ваня носил вещи от костра и подавал их ему, и он каждым разом присмирлял вер-

тиноску, погружая ее все глубже в воду. «Смотри», – вдруг тихо и восхищенно сказал брат. У потухшего уже костра, прямо из котелка с остатками пищи обедал небольшой красивый зверь. Гибкий и точный в движениях, он, очистив посудину, заботливо подбирал с земли упавшие макароны и, не торопясь, искал новые. Размером чуть меньше кошки, с лоснящимся, словно мокрым, коричневым мехом, зверь насыщался с видом туземного божка, которому испуганные люди поднесли очередную лакомую жертву.

– Эй, – негромко сказал Жолобков, и зверь нехотя оглянулся, потом убедился, что доступной еды больше нет, и не спеша удалился.

– Это кто был? – Ваня удивленно смотрел вслед почетному гостю.

– Не знаю, норка или соболь. На хорька вроде не похож. Пусть будет просто – макаронный зверь.

Жолобков осторожно сел на скамейку утлого плавсредства, оттолкнулся веслом от близкого дна и стал медленно грести. Сидеть было неудобно, горой наваленные вещи не давали вытянуть ноги, и согнутые колени мешали движениям весел. Сразу заломило спину. Солнце пекло тяжелый, чугунный после водки затылок, а ветер с моря был обжигающе холодным. Как-то вдруг, неожиданно для себя, он понял, что опять очутился на границе. Так явственно она не являлась ему нигде – нестерпимый, пот вышибающий солнечный жар со спины и ледяной почти, жалящий ветер в лицо и грудь. А посередине был непонятно кто – человеческое, разумное существо или слегка отесанное, привычно жующее животное с неясными всхлипами о несуществующей душе. Потом Жолобков посмотрел на бодро шагающего по берегу Ивана, перепрыгивающего с камня на камень, а иногда вброд переходящего неглубокие заливы перед высокими скалами. Он шел параллельно движению лодки, с такой же скоростью, с такими же сомнениями на лице, но все же более напористо, уверенно, чемдвигающийся рывками нелепый резиновый пузырь. Никого больше не было в округе, их было двое в этом большом мире, два представителя одного вида, и по ним только дремучие скалы и соленая вода могли судить об остальных, оставшихся и отсталых. Предчувствие какого-то невероятного, чудесного счастья охватило вдруг Жолобкова, и обещанием беспечной и вечной красоты забурлило море вокруг «резинки», стремительным серебряным блеском заюлили в воде решительные рыбные тела – шел косяк беломорской мелкой сельди. Шел первый в жизни и мире косяк. Жолобков хотел крикнуть брату, поискал его глазами и увидел, как вкопанно тот стоит на последнем заметном мысу. В несколько спешащих гребков он доплыл туда. За мысом был рай. Залив кончался клином, на острие которого неистово билась порожистая речка. Скалы резко обрубали ветер с моря, и жидкое стекло светлой воды благодарно нежилась под солнцем. Расступившийся лес являл светлую, веселую, словно дебелая девица, поляну у самого берега. Резкий крик одинокого баклана лишь оттенял стоящую кругом тишину, как черный кофе оттеняет молочную спелость фарфора. Замерев у входа в рай, люди ждали. И тогда, приветствуя их, свечой взмыла из воды большая игривая рыба. С гулким пушечным звуком упала она обратно в воду, и скальное эхо восторженно выдохнуло вместе с ними: «У-ух».

Все это было настолько ожидаемо, лелеемо и потому неожиданно, что на секунду поверилось в возможность счастья. Поверилось, что удалось, нет, не бежать, но хотя бы на время вырваться, отдохнуть от внешнего, людского мира. От амбиций, крови, борьбы за живучесть, убежденности убеждаемых, символов веры и верности идолам. Спеша и подгоняя друг друга восторженными криками, они быстро добрались до поляны, наскоро разбили лагерь и отметили свою удачу хорошей водкой с живительным названием «Исток», произведенной в городе Беслан.

Хотелось очень многого и сразу. Перебрав сети, они сразу поставили их. Через пару часов, едва успев пообедать и слегка отдохнуть, поехали проверять. Жолобков был на веслах, а Иван похажал. Рыбы было столько, что первоначальный восторг быстро сменился сначала сосредоточенностью, а потом и усталостью. Разнокалиберная треска, быстро засыпающая в сетях; зубатка, словно бешеная собака изгибающаяся в руках в попытке укусить обнявшую ладонь длинными, желтыми клыками; вечно живая камбала; тугие и нежные сиги; жиром сочащаяся беломорка. Не было только семги. Вместо нее в нескольких местах жилковых сетей зияли большие дыры.

Иван выпутывал рыбу, притапливал ее, пицашую, курил. Залившуюся безжалостно выбрасывал прочь. У него устали руки, и неловко выгнутая шея ныла. Разболелась голова. Лодка быстро покрылась чешуей, илом, подводными запахами.

– Есть таблетка от головы? – спросил он брата.

– Лучшее средство от головы – топор, – глупо пошутил тот. – Все, хорош на сегодня. Бросай все.

Рыбы было столько, что предстоящее чистилище нагоняло тоску. Все же взялись вместе, дружно усевшись не берегу моря. Неподалеку сразу устроился одинокий дежурный баклан, внимательным взглядом оценивая количество требухи.

Когда чистишь свежую, только что пойманную рыбу, по преодолении первой тошноты начинаешь находить какое-то даже удовольствие в процессе. Острое лезвие в анальное отверстие – вжик – единым движением рассекаешь брюхо до головы. Затем двумя пальцами ухватываешь интимно-розовые жабры и вырываешь их вместе со всем пищеварительным трактом. Это – если повезет. Иначе долго елозишь пальцами в непоэтичном сплетении кишок. Остальное все очень красиво. Блестящий перламутром воздушный пузырь. Тугая и гладко-бордовая печень. Пронзительно яркая, животворящая икра. Аспидно-черная пленка брюшины. Это у трески. Зубатка же, несмотря на свой злоедейский вид, внутри мила и симпатична. Никаких пленок, все компактно и младенчески чисто, словно вульва незамужней красавицы. Камбале же вообще делаешь косой надрез поперек головы и одним пальцем выбираешь неприятную слизь, оставляя в руках плоское упругое тело. Для копчения – с чешуей, если хочешь ухи – тогда во все стороны весело летит сухой пластинчатый дождь, и то и дело сплевываешь мелкие гибкие лепестки, языком ощущая легкий и пугающий вкус чужой жизни. Убирать отходы не нужно – чуть отойдешь в сторону, и тот, кто пернатый дежурный тудэй, неосмотрительно и восторженно крикнет во всю глотку и не успеет в одиночку насладиться пахучими яствами. Истошно орущие ангелы налетят со всех сторон и продолжат круговорот веществ в природе, голодом смерть попирая.

Они вообще были разными, братья. Одна кровь зачастую творит чудеса. Без определенных занятий Жолобков важнейшим для себя полагал поиск различных, иногда пугающих истин. Разнообразная жизнь сделала его ленивым и наблюдательным. Часто ввергая себя и окружающих в различные катаклизмы, он втайне гордился тем, что стал очень чувствительным ко многим проявлениям жизни и смерти, зачастую предчувствуя, а то и предвкушая общественные и личные беды. Хроник пограничных состояний, он с возрастом добился того, что теперь еле выживал в жизненных коллизиях, но иногда это давало ему право и редкую возможность сложить несколько слов в сочетаниях, от которых порой замирало сердце. Делатель красивых иллюзий полагал это самым важным в жизни, и близкие рыдали частыми и кровавыми слезами от испытаний ядерных: на прочность – жизни, на не-страшность – смерти, на честь и верность – разрушительной любви. Зато деньги легко приходили и уходили от него. Их наличие было радостно, отсутствие – гнетуще, но не более того. Брат же Иван жизнь проводил в тяжелом и правильном труде. Железный дорожник, он медленно делал рабочую карьеру, послушно участвуя в логичной транспортной системе. Твердость давно приобретенных убеж-

дений давала ему право надежно судить других и мир делить на парные цвета – зеленое и серое пространство, бесчестное и доброе начало, веселое и злое вещество. Всегда раз-два. Он был хороший человек, Иван, и работающий, и в семье умелый – просто заяц. Зато не знал полета, кроме прыжка. И деньги доставались тяжело.

Долго вместе находиться они не могли – начинали ссориться. Входя в раж, брат обвинял Жолобкова во многих грехах. Тот же пытался отделяться шутками:

– Помнишь, ехали на поезде вместе куда-то. Так у тебя на билете игольчатым принтером было выбито внизу – «льготный ЖДб». А мне казалось – «льготный ЖАБ».

– Сам ты «жаб», – обижался Иван и растекался обвинениями снова в нечестной хитрости и беспокойности ума.

– Зато ты не пожрал свободы, – обычно ставил кочку Жолобков, и Ваня спотыкался в этом месте.

Когда едешь на Север, то ожидаешь какой-то спокойной ясности: светлых задумчивых озер, еловых и сосновых лесов, снега и камня, прочего умиротворения. Но Север правдив и жесток. Если внутри у тебя покой, если не волочится следом кровавый след беды, то не тронет тебя ни один зверь, холодное море даст пищу, а дикие леса – кров. Но вдруг ты болееешь душой – любая скрюченная сосна на скале перед тобой изогнется петлей и напугает древним проклятием; любой камень на берегу сделает подножку, и будешь лететь вниз головой в спокойную светлую воду, наивно вопрошая «за что?»; а говорливая речушка в ночи будет неустанно спрашивать тебя голосами обиженных тобой или обидевших тебя, и будешь на один с пытливым, важным, безжалостным и ласковым судьей. Не езжайте, дети, просто так на Север.

С утра Жолобков решил прогуляться по лесу, поискать грибов. Удобная тропинка легконого бежала вдоль берега. Солнце узорчато светило сквозь высокие кроны, и на земле весело скакали солнечные зайцы, мыши, бурундуки и лисы. Нелегко было в их бурной игре увидеть притаившийся гриб, и первый Жолобков нашел, наступив на него ногой. Тот издал свежий яблочный хруст, и печально человек присел над раздавленным боровиком. Потом поэтому стал медленно, внимательно ходить, в минуту делая шагов пять, не больше, и стал их много находить вокруг – все в разных позах, спрятавшись умело, они над ним смеялись, а найдясь – спокойно отдавались прямо в руки, как дети, доверяющие взрослым, пока не видели от них худого. И Жолобков их радовался играм, увлекся и азартно собирал, пока не вспомнил. Не вспомнил ту, которая недавно еще ему смеялась и дарила улыбку, тело, счастье обладания и искренность доверчивой души. Не вспомнил, как потом вдруг оказалось, что все рассчитано ею было в злые сроки, и строго соблюдалось это время, когда все можно, и другое, немного позже, когда все нельзя, и можно резать по живому, превращая надежду в злую веру; что знала – как положено; в неправду – искренность, в награду – память; речь другой вдруг стала и слова померкли, как на лежалой рыбе чешуя. Он долго сам держался, только пил, внутри строжа мужскую злую жилу, что требовала мести и обиду желала смыть парной горячей кровью. Одной любовью в мире стало меньше, и он заметно потускнел, осклиз, весна была холодной, а лето – вялым и дождливым, как слизняк, упавший с ветки дерева больного. Он вспомнил это и не выдержал, запел фальшивым голосом фальшивые слова на музыку, тягучую, как деготь: «Морщинистая тварь, минетка ложной сути...» Зашло за тучу солнце, и посерьезнел лес – мир не спасала больше красота.

Когда он немного отошел от боли и смог снова различать окружающие звуки, то почти сразу услышал какое-то веселое чириканье. Сначала подумал, что птицы, но, приглядевшись, увидел, как по самому берегу моря, переговариваясь между собой, идут два зверька, похо-

жие на давешнего поедателя макарон. Шли они от места первой стоянки явно по направлению к нынешней. Смешно чирикаая, настолько увлеклись беседой, что не заметили Жолобкова. Были они похожи на двух девчонок, сестер или просто подружек, вышедших на приятную прогулку, в конце которой их ожидают вкусный ресторанный ужин и возжеленные танцы. Дела им не было до взглядов окружающих, и остановились, только наткнувшись почти на стоящего человека. Да и здесь подняли смышленные мордочки и разглядывать стали – что за пень такой нестройной.

– Эй, – негромко сказал Жолобков, и они слегка насторожились, по крайней мере чирикать дружелюбно перестали.

– Эй вы, смешные, – еще раз сказал он, и тогда только одна юркнула под навал камней, вторая же бросилась наутек, возмущенно вскрикивая и оборачиваясь порой гневно. Жолобков сбегал в лагерь за фотоаппаратом, но девчонок уже не нашел.

Когда он вернулся из леса, Иван стоял на берегу со спиннингом в руках. За несколько дней, что они были тут, семга строго устраивала свои яростные танцы с утра и ближе к вечеру. Свирым серебряным веретеном, в невероятном каком-то вращении выстреливала она из воды в единственно необходимом направлении – прямо в небо. Тучи сверкающих брызг вздымались вместе с ней, но отставали сразу, оставаясь далеко внизу, успев на солнце высечь выскер радужного нимба. А семга в высшей точке изгибалась отчаянным изгибом беззаветно и, не сумев достать до неба, устало плюхалась обратно в злую воду. Чтоб через две минуты, три, четыре, пять безумную попытку сделать снова.

Вначале они каждый раз бросались к морю и суматошно кидали блесны в самый, казалось, центр расходящихся по воде, безнадежных кругов. Но семге не было дела до наживки, она не питалась, она просто пыталась. Жолобков первый уставал от бессмысленных и резких движений, а Иван долго и методично вылавливал близкое счастье. Вот и сейчас он снова и снова забрасывал спиннинг, но тот приходил лишь с травой морской. Жолобков же теперь даже пытаться не стал. Зачем насиловать судьбу, когда она лишь, благо, посмотреть дает, но прикоснуться – никогда. Поэтому он взял топор и стал рубить дрова на вечер. Это тоже было большое удовольствие. Удобное, хваткое топориче само ложилось в ладони, а острое жало, разогнанное жалобной силой, со стоном входило в молодое, сырое дерево и в труху крушило старое.

Утро последнего дня впервые было пасмурным. Низкие тучи рвались в припадке ярости, жадной до боли, ключьями низко летели с севера и сыпали мелким, душу саднящим дождем. Мокрый воздух полнился предчувствием медленного осеннего гниения. С трудом поднявшись после ломотного сна во влажных спальниках на сырой земле, братья покурили и принялись готовить завтрак. Третья натошак сигарета превращает человека в волка. Тот может отгрызнуть отравленную пищу. Жолобкова этим утром тошнило от любой.

Радостное сначала безлюдье начинало сильно тяготить. Природа уже так насытила благодостной сладостью, что захотелось человеческого перцу. Отношений захотелось, общения, конец которых неизбежен – все люди враги, но зато как интересны извилистые пути. Друг на друга братья тоже поглядывали с неудовольствием.

Пока завтракали, вокруг стояла мертвая тишина. Даже семга сегодня затаилась и не плясала. Птицы молча сидели по дуплам. Но только закончили есть и стали варить кофе, как из высокой травы, что стеной окружала лагерь, раздались яростные визги. Братья вскочили и осторожно заглянули в гущу ее. Совсем рядом с палаткой сплелись в пищащий клубок две вчерашние норки, что так весело гуляли по лесу. Одинаковые как сестры, они давно сидели в засаде и дружно подсчитывали упавшие куски. На каком-то сбились, не сошлись в предвкушениях и стали биться. Летела шерсть, летела во все стороны звериная злоба. Увидев братьев, норки на секунду расцепились, сделали несколько прыжков в сторону и там снова вонзились друг

в друга. Иван с Жолобковым пытались подойти, но те опять бежали и продолжали бой. И долго еще из леса доносился все удаляющийся, но до смерти резкий визг.

Он уязвим и слаб был в этот день. И существом всем дрожал, и нутром кровоточил. И совесть, незнакомое, чужое чувство с трудом справлялось с дикой жадой. А в запекшейся крови его некому было увязнуть. Потому что. Потому. Что бессмысленно все. И кому дело. Что осталась осень в дубовых лесах ненужным пасквилом. Что отжаты в губку слезы, непосчитаны. Что зачем мертвым подсолнечные семечки. Непонятно как, вусмерть, впроголодь равномерные нарядные амбиции. Только раз-два-три – штуки разные, а семь-девять-одиннадцать – очень близкие, чтобы можно так – автомат харкнул раз – непонятно, красиво даже – ствол-огонь, мощный выброс, физиологично. Волоски только мешают, что вкусно пахли, душистым мылом или водой просто, кожей. Чих-пых, здравствуйте, сила есть, испугались все. Я все могу: топором – старуху, пулей – свиненка этого грязного, с волосками, меня не любят – я в ответ. Убивать всех, тварей этих, выкормышей их, приятно, кровь бурлит в жилах вежливо, барак-амбал, чистота пламени, верный смысл. Сила в кольцах, радость в перцах. Симбиоз завязан на стезе. Я верю в барак-амбал, нет веры моей сильнее. Безлюбие барометру сродни. Бартоломео Тощи завещал нам всем тревожиться о чистоте. И снова в копошащихся червей с телами, что противно так похожи на детское мое – огнем суровым – пли. Возмездие и вера – есть резон. Трезвон разора застит злую забыль. Я ей писал, любовь, быть может, вчуже устройству неподвижному ее.

Ссора возникла незаметно, как проскользнувшая сквозь щель змея. За слово – слово, ум за разум, порча. Только что были братья – теперь орали изо всех сил. На друга друг, какое дело. Вокруг не было людей, только деревья, а они молчат. Ты виноват во всем – позиция одна. Другая – люди разные, тогда свободен каждый. А мер – хотелось бы – любовь-граница – ложе для свободы. Но глупо получается – свобода – размытая граница для любви.

– Ты виноват.

– Нет, ты. Ты хитрый и ленивый.

– А ты – глупый.

– Не любишь ты. Ты никого не любишь.

– Люблю. Но только как могу и сам желаю. По-своему, по-братски, потому, что хочется мне так, имею право и свободу вопреки сам делать, то, что сам считаю нужным.

– Сейчас заряду по морде, – медленно сказал Иван, – еще только слово скажи.

– Раз слово, два слово, три, – Жолобков проерничал момент, когда можно было шутить или, резко дернувшись назад и чуть вбок, – избежать. Челюсть ожгло ожогом боли. Он на зубах почувствовал ошметья губ. Зарница высветила все: обиду, зависть, месть, несчастье, совесть. Заверещала в крик ногой отброшенная жаба. Рука сама легко легла на топорище.

Вдруг, совсем рядом, гулко и надежно скакнула семга именем Его.

Смерть старушки

«Гораздо больше, чем на озеро, – река непохожа на море. В озере она может родиться, но никогда – умереть. В море же – умирает всегда. Море торопливо, жадными чужеродными губами глотает сладкую воду земли, превращает ее в свою соленую кровь. И тогда начинается другая, потусторонняя жизнь рек, обреченных на зависимость и растворенность в целом», – а красота вокруг была такая, что совсем не располагала к размышлениям. Он стоял наполовой, гладкой скале, которая была берегом непонятно чего – то ли еще реки, то ли уже моря. Немного выше по течению был шумный рокочущий порог – то есть еще река. Немного дальше в другую сторону берегов не было вообще – открытое спокойное море. Темно-коричневая, масляно-шоколадная река вливалась в него, растворялась, светлела и становилась свободного, неправдоподобно голубого цвета. Еще был ветер, вкусный, как теплый хлеб на разломе, как пивной пар в русской бане, как нагретое солнцем багульниковое болото. На другом берегу реки, тоже на скалах, гнездилась пустынная деревня. Серые бревенчатые дома, нахохлившись, прятались в расщелинах, не веря в недолгую благостность утрюмых стихий. А день задорно блестел, подобный кратковременной праздничной мишуре, чей конец известен и неотвратим.

Он стоял на одном месте уже целый час. Никаких сил не было, чтобы уйти, покинуть это дремотное пограничье. Каждая морская волна была новой, непохожей на предыдущую, каждый взрык речного порога нес в себе иной оттенок горделивого бахвальства. Смерть реки была яркой и праздничной.

Потом вдруг пришла тишина. Как-то разом порог умолк, перестал биться и ворчать. Удивленно, сначала нехотя, а потом все с большим желанием вода повернула и пошла вспять. В растерянности закружились утратившие веру щепки, попадая в маленькие, нестрашные водовороты, скрываясь с поверхности и тут же выныривая обратно. Море вошло в реку. И теперь уже его светлость вливалось в насыщенную пресную черноту. Теперь уже оно из всех сил вытягивало обветренные губы, и от глубины этого пронзительного поцелуя у человека закружилась голова.

Я спустился к воде и зачерпнул ее ладонью. Еще полчаса назад с удовольствием пил ее, теперь же поперхнулся и закашлялся от неожиданной горечи.

– Что, мусокая? – раздался сзади насмешливый голос. На высоком месте, откуда я только что озирали окрестности, стоял и улыбался небольшой человечек, почти карлик. Сразу трудно было определить его возраст – молодое, обветренное лицо и лишь черные останки зубов в широко растянутом, улыбчивом рту.

Я поднялся к нему, поздоровались. У ног гнома стояла объемистая двухведерная корзина, полная неестественно крупной, глубоким темным светом сияющей черники. Бывает редкий черный жемчуг, одна жемчужина на миллион. Здесь их было два ведра с горкой.

– Издала приехал? – спросил не то мальчик, не то старик.

– Да нет, не очень, – а сам подумал, что каких-то пятисот километров могут стать неодолимой преградой и никогда не позволить увидеть тебе другой мир, непривычный, радостный, морской. И дело не в транспорте, не в отсутствии свободного времени или денег – дело в тебе самом, в том маленьком, секундном и первом усилии, которое всегда так трудно сделать.

– А я здешний. Видишь, чернику щас берем, – гном с удовольствием общался. – Восемь ведер сегодня взял, – руки его чуть не по локоть были сиреневыми, измазанными ягодным соком.

– Руками собираешь, не комбайном? – не верилось в такую запредельность лесного дара, редкого в прочесанных двуногими пригородных лесопятнах.

– Какой комбайн, все руками, – он смахнул со щеки комара. – Тинду не купишь?

– Тинду не куплю, не знаю, что такое? – Я вдруг почувствовал, насколько смешно это – стоять здесь, одетому в яркий дождевик и новые еще джинсы, и спрашивать у местного, пусть в фуфайке и старых кедах, но ловкого и делового гнома про тинду.

– Ну ты даешь, тинду не знаешь. Рыба это, семга, молодая только. Трех кило не весит, – веселился собеседник.

Я тоже улыбнулся невольно:

– Все равно не надо. Скажи лучше, где тут у вас грибов можно поискать?

– А чего их искать – вот по этой тропке иди и бери, – гном махнул рукой вдоль реки. – Ладно, пора мне, пока сезон. Бывай.

Он шагнул в сторону и вдруг исчез среди густого подлеска. Несколько минут я мог слышать треск веток под его ногой, потом все стихло. И опять стало мирно и беззвучно так, как бывает только в лесу, у моря, у реки, когда плеск волн о берег, шум листвы, мелкая поступь внезапного маленького дождя становятся твоим собственным дыханием, и ты не слышишь их, а только чувствуешь, как сладко постанывают до предела наполненные животворным эфиром легкие.

Внезапно я понял, что меня отпустило. Что меня очередной раз отпустило. Что я опять буду жить, потому что дождался, выстоял, перетерпел. Потому что душевная боль – это не ума лишенность, а лишь бездонная беда внутри, когда, качаясь на краю, ты пальцы ног бессмысленно, бездумно, отчаянно и жалко напрягаешь, чтоб не свалиться, чтобы устоять.

Еще немного постояв и прощально оглянувшись на море, я пошел по тропинке, указанной гномом. Экипирован я был по-взрослому – большая корзина для грибов, спиннинг с набором блесен, компас, карта-двухверстка, да еще чехол от резиновой лодки прихватил на случай полного изобилия. Если уж собирать, так все что попадется, с корнем, подчистую. Всегда у меня так – выбираешься в лес нечасто и всегда думаешь, что свалится на тебя столько даров – не унести будет. Но обычно выходишь полупустой, находившийся и надышавшийся, и деревья хитро посмеиваются за твоей спиной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.